

Александр Брюховецкий

Без лица

Рассказы



Александр Брюховецкий

Без лица. Рассказы

«Издательские решения»

Брюховецкий А.

Без лица. Рассказы / А. Брюховецкий — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-932128-2

Юмор — неотъемлемая часть интеллекта, а сострадание к ближнему — составная человеческой совести, без которой мир не устоит. (Автор)

ISBN 978-5-44-932128-2

© Брюховецкий А.
© Издательские решения

Содержание

БЕЗ ЛИЦА	6
БЕЗУТЕШНАЯ СКОТНИКОВА	13
БРАТА ЖАЛЬ	18
ВРЕМЯ СКЛЕРОЗА	21
ГРИГОРИЙ И БЕНДЖАМИН	24
ЗАПАХ СОЛНЦА	28
КОГДА УМЕР ОГОРОДНИКОВ	38
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Без лица Рассказы

Александр Брюховецкий

© Александр Брюховецкий, 2018

ISBN 978-5-4493-2128-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

БЕЗ ЛИЦА

Ветер февральский злой, неугомонный, как сто чертей – бросает пригоршни ледяных колючек в лицо, шлифует скулы, словно наждачной бумагой. Потом поутихнет на время и тут же вновь стеганёт батоном, с отяжкой жгучей по непокрытым частям тела. Неуютно Притыкину Михаилу – голову втягивает по самые плечи, прячась с заветренной стороны дома нужду малую справляя. Оставив на сугробе желтый автограф, спешит в дом. Сам себе под нос, хлопая перекошенной дверью: «Ох, и сучий февраль!». Ему, Притыкину, можно принципиально и с крылечка... либо в ведро – один живёт, но под воздействием культурного наследия от старой жизни, пока не проделывал этого.

Сейчас у него – новая жизнь, личная. Бабу он похоронил с полгода назад. Сегодня как раз полгода. На печке что-то доваривается, в доме грязь и густая тенета по углам. Даже зеркало почти не отражает Притыкина. А он редко в него заглядывает – боится увидеть себя одного старого и несчастного, а может и само зеркало боится увидеть небритое и грязное существо. Порой Михаилу кажется, что в доме вообще никого нет, даже его самого, и тогда непомерная печаль перемешанная со страхом, овладевает им. В такие моменты он начинает тщательно ощупывать свои ноги, руки, убеждаясь в их наличии а значит и всего остального в теле, включая печень, селезёнку и что там ещё внутри... даже зычно крикнет на всю избу: «Эх, жисть бекова!..» После этих процедур ему сразу становится легче. А сегодня могут быть и гости. А могут и не придти. Надо же всем напоминать, что его бабе уже полгода... а была ли эта баба, Притыкин даже стал сомневаться. Да вроде была.

Вещи её перебрал в старом шифоньере, фотокарточки посмотрел. Вдвоем жили – детей не было. Если бы не эти старые фотографические изображения, то он бы толком и лицо своей супруги не вспомнил, настолько оно становилось размытым в сознании. Может от того, что не любил?... Или в ней темперамента особого не было – лежала в постели холодная, как бревно – не достучишься до желаний... а может сам Притыкин стучаться, как полагается не мог?... Но хоть и бревном она была – всё ж веселее время короталось. После её смерти Михаил ошкурив чурку в два метра и положил рядом с собою в кровать, чтобы легче переносить одиночество. Даже болтал с ним иногда, обнимал.

В дверь постучали. Вошел Кабанцов Вася, с большим сизым носом из которого текло от холода – боббль преклонных лет со стажем. В деревне все его называли Вася-утконос. Посидели, помянули покойницу самогоном. Долго молчали, посапывая.

– Бабу свою стал на лицо забывать, – нарушил молчание Михаил. – Порой думаю, а была ли она?

Кабанцов рассеяно глядя на пустой стакан, развил сюжет:

– А я так и приблизительно не скажу про свою, но помню с бородавкой была. А вот жратву она хорошо готовила. Жратву вот помню, а лицо – нет. Только вот эту бородавку... слева от носа... или справа... от носа. Это от того, Миша, что нет любви, однако. Да я, правда, к ней шибко и не присматривался – так мелькала, мелькала и убралась потихоньку...

– Да, все мы по краю ходим... а любовь, Вася, она есть... – вздохнул тяжело Михаил.

Ещё опрокинули по полстакана ядерного напитка, крякнули, захрустев солеными огурцами. Кабанцов ковыряя вилкой в зубах, продолжил тему:

– По мне счас покажи голую задницу и лицо моей бывшей, я так сразу и не определюсь, где что... вот так!

– Может, у неё лица и не было? – спросил Притыкин, пьянея и глупея.

– Как это не было?!.. Была бородавка, значит, и лицо было! – обиделся гость. Просто она не была красавицей, вот и всё.

– Бородавка, она, где угодно прицепится, а я вот что, Вася, подмечаю, – хозяин вновь плеснул в стаканы. – Подмечаю, что все бабы, особенно у нас в деревне, как бы на одну морду – какие-то стандартные... то ли от того, что их знаешь как облупленных, то ли... а может красивых и отродясь тут не было?

– Верно, Миша! На своих деревенских посмотришь, и никакого желания тебе!.. Красоты особой не замечается. Где им тут красивым да изящным взяться?

– Правильно, Вася, что им тут делать. Давай ещё по соточке, помянем грешную!.. Кх-х! крепкая зараза! Я, признаться, всегда мечтал о таких, как в телевизоре – изящных, умных!..

Оставшись один, Притыкин начал бродить из угла в угол не находя места. «Надо что-то менять» – бормотал он. А как менять, он не знал. Вновь, как и раньше, на него накатила волна страха и горькой печали. И такая жуть овладела им, что начало знобить всё тело, будто от холода и Михаил залез под одеяло, но постепенно придя в себя, натаскал воды в баню, протопил её.

Разомлевши от горячего пара, Михаил долго разглядывал свои ноги, руки, шевелил пальцами, удивляясь их безупречному подчинению мысли. Потом напрягал бицепсы и остальное: кожа местами уже пообвисла, но сила в теле ещё чувствовалась – мышцы бугрились, в общем, все анатомические части исправно работали, и Притыкин находил, что он ещё не труп – он ещё запросто может устроить личную жизнь в свои пятьдесят семь. Перебрав мысленно весь свободный женский пол, пришел к неутешительному выводу – все они без лица, да к тому же с приличными довесками в виде детей и внуков.

Перед сном, как всегда, он смотрел вечерние новости на одном и том же канале – ему нравилась телеведущая Катя. Она была тонкой и миниатюрной, с красивыми чертами лица и с обворожительной улыбкой. Когда Катя, после окончания новостей, улыбалась широко и белозубо, то у Притыкина Михаила вся изба переворачивалась – ему было невыносимо хорошо и так же невыносимо тоскливо. Вот такую он смог бы взять себе даже с большим довеском! Красавица, умница! А какая улы-ы-бка!.. Напрягая память, он пытался вспомнить – улыбалась ли когда-нибудь его жена? Кажется – да, но очень и очень редко, а Катя каждый вечер улыбается... Её даже щекотать не надо – говорит и улыбается.

По ночам ему часто снилась Катя. Она протягивала к нему руки, подмигивая глазками, но только Михаил приближался к ней с замиранием сердца, как она исчезала, смеясь. Просыпался он, а в объятиях – бревно. Дурно ему становилось от этого: с вечера – своя бывшая в виде бревна, ночью – Катя олицетворяла холодную и скользкую деревяшку. На следующий день после поминок он распилит это бревно и поколот на дрова – «две бабы – это уж слишком», – бурчал он, складывая поленья в аккуратную стопку.

После этого Притыкин почувствовал себя совсем одиноким. Из дома он не выходил практически после смерти жены, разве что за хлебом и продуктами ходит раз в три дня, а пенсию шахтерскую он давно заработал – принесут. Вот так и коротал время. Иногда приходил всё тот же Кабанцов: посидят, смоля дешевые сигареты, на правительство пожалуются, потом на свою судьбу – баб при этом обязательно «пропесочат» – покойниц и ныне здравствующих. Сходились во мнении, что все они без лица... мол, нет той одухотворенности, обаяния...

Михаил немного пришел в себя и чтобы окончательно отвлечься от всевозможных лишних дум, решил походить на рыбалку. Морозы к концу февраля стали не такими злыми, хотя с утра могло и под минус двадцать пять ударить, но к полудню заметно теплело. Вот только ветерок колючий всё так же заявлял о своем непокладистом характере – дул настойчиво во все щели изб.

Река широкая, и местами где отсутствовал прибрежный лес – продувалась постоянными ветрами, отчего лёд там был чист. Рыба здесь практически не водилась, но Михаил особо и не печалился – развеяться бы...

Попад под ветер на открытом участке, он широко распахнул полушубок, изображая из себя парусник, после чего успешно заскользил по льду к противоположному берегу. Он несся стремительно, подгоняемый упругим ветром – это было похоже на всю его жизнь – от берега и до берега, без любви и счастья, без денег и без славы. Он катился минут пять, но так и не успел осознать для чего ему, Притыкину, дана эта глупая жизнь. Он отъехал от одного берега, теперь прибыл к другому, сзади было рождение, впереди смерть... но если в масштабах вселенной то человек живёт практически долю секунды, размышлял он, и многое, как ни странно успеваешь сделать. Вот только обустроить свою личную жизнь по своему желанию не может – судьба... и ведь важнее и значимее любви, выходит, ничего и нет!

Он раз десять возвращался назад, подставляя лицо жгучему ветру, потом с восторгом катился в обратную сторону, блаженствуя и философствуя о бренности всего сущего. Ему казалось, что его жизнь наполнялась каким-то глубоким смыслом. Какая-то особая значимость проникала в его естество. Он приходил на реку каждый день, постепенно становясь её неотъемлемой частью, только вот ночью...

Ночью он опять видел Катю... – это было тяжелым испытанием, и он перестал вечерами включать телевизор, чтобы ненароком не натолкнуться на милое лицо. Но через несколько дней не выдержал – включил, но Кати уже не было. Вместо неё передачу вела совсем другая особа. Тяжело переживал Притыкин отсутствие желанной телеведущей, тешился мыслью, что Катя, возможно, пошла в отпуск, а может и вовсе забросила телевидение. Ему показалось, что весь мир стал обезличенным без Кати, и эта страшная мысль заставила вновь лихорадочно ощупывать себя: все части тела были на месте, вот только когда он проходил мимо зеркала...

Проходя мимо зеркала, Притыкин Михаил бегло взглянул на своё отражение и оторопел – там отсутствовало его лицо. Весь Притыкин отражался, а вот лицо – нет. Не веря этому, он схватился за нос, но рука провалилась куда-то внутрь. Отсутствовали ещё губы, скулы. Не веря до конца в это происшествие, он поплевал на зеркало и протер рукавом рубашки свое отражение. «А-а-а!» – вырвалось страшное и протяжное изнутри его тела, как из глубокой ямы. В зеркале он четко увидел голову, на ней лоб и уши, шею, а вместо лица была большая дыра. Он дико взвыл, и, испугавшись собственного звука, который исходил буквально из желудка, стал бегать по избе, круша всё, что попадалось под руки, потом придя в себя, задернул занавески на окнах, набросил крючок на дверь.

Ночь он провел тихо, боясь прикоснуться к лицу, а утром на цыпочках подкравшись к зеркалу, стал осторожно в него вглядываться – лица так же не было. Вскоре в дверь громко постучали. Притыкин молчал. С той стороны крикнули:

– Миша, это я. Открывай.

Это был Вася-утконос. А другие к нему как-то и не заходили.

– Не могу, – промычал глухо Михаил.

– От чего так? – недоумевали за дверью.

– У меня... меня... в общем, я без лица, Вася!.. – донеслось глухое.

– Да будет тебе!.. Хватит шутить! У тебя его и вчера не было... вон, как страдания нас доводят!.. Я, Вася, самогоночки выгнал – первачок – может дерябнем с устатку?

Это, казалось, был выход. Нужно действительно напиться, а там будь, что будет!.. вдруг лицо обнаружится или наоборот – весь исчезну, что даже и лучше... – подумал так Притыкин и утробно выкрикнул:

– Ты, только того... не испугайся.

Сидели за столом визави. Притыкин с наброшенным на голову грязным полотенцем, и слегка удивлённый Кабанцов.

– Ну, будя, издеваться, Миха, давай по маленькой, не придурайся! Ежели ты действительно без лица, то, как будешь пить? Куда пойло вливать будешь?

Несчастный сдернул полотенце. Эффект был потрясающим – Кабанцов упал со стула и в бессознательном состоянии провалялся несколько минут.

– К-как же теперь без лица-то? – заикаясь, спрашивал он, немного придя в себя, и разглядывая со страхом своего друга. – Без лица, Вася, тебя никуда из деревни не выпустят. В паспорте есть лицо, а на тебе его – нет.

– Вот так и жить будем, Вася, – просипел утробно Притыкин, опрокидывая стакан с жидкостью в большую дыру на месте лица.

Выпили основательно, от души. Михаил плакал и звук несся, как из глубокого колодца, сырой и низкий, наводя ужас на Кабанцова. Тот глубоко вобрал голову в плечи, тоже тихонько подвывал.

– Тебе, Миха, на улицу точно никак нельзя. Увидют, определяют куда-нибудь... Это ж как, спросят, с таким видом на люди показываешься?.. А в магазин я буду ходить, ты не переживай шибко! Главное даже за дверь не высовывайся, а я всем скажу, что ты уехал к брату на Сахалин, вот так. А там, глядишь, и лицо новое нарастёт.

Трое суток сидел безвылазно Притыкин дома, потом осмелился и стал совершать ночные прогулки: поднимет ворот полушубка, втянет туда голову по самые брови и, как медведь шатун, туда-сюда по окраине деревни, где собственно и стояла его изба. Луна полная и бледная, молча любовалась странной фигурой, освещая её жиденьким лимонным светом. Ночной мир казался странным и призрачным: закуржавевшие деревья, освещаемые этим глупым и холодным ночным светилком, казались нарисованными – нереальными. Притыкин отмечал про себя, что даже луна имеет лицо, потому как там явно читались и рот, нос, глаза... от тоски ему хотелось завывать. И он завыл долго и протяжно, как это делают волки. В деревне эту дикую мелодию дружно подхватили собаки.

Вскоре он расширил территорию своих ночных посещений. Теперь он вновь стал выходить к своему излюбленному месту, которое определил для себя неким жизненным пространством, чтобы хоть как-то наполнить смыслом своё прискорбно-ужасное состояние. Ветер был настолько слаб, что о глупом катании от берега к берегу не приходилось и помышлять и ему оставалось только бесцельно бродить по зеркально чистому льду. Меряя широкое пространство реки старыми подшитыми валенками, Притыкин вдруг увидел её...

Нет, ему не показалось... под его ногами, лицом кверху, лежала полуобнаженная женщина, полностью вмерзшая в лёд. На ней были только ажурные трусики и лифчик. Фигура и лицо были безупречны по форме (по крайней мере, так показалось Притыкину) а длинные темные волосы

утопленницы застыли в причудливых извивах вокруг шеи, рук... Носик был слегка вздернут, аккуратен, глаза были открыты и удивительно чисты, как будто нисколько не осознавали свою ужасную кончину. А чувственный полуоткрытый ротик с припухшими губками, как будто призывал к плотской страсти.

Михаилу как током пронзило голову: «Не Катя ли это?» потому как была так же божественно красива. Потом прикинул, что телеведущая исчезла с экрана буквально на днях, а труп, конечно же, находится в реке с поздней осени. Но удивительно, что утопленница нисколько не искажена, ни страданиями, ни временем – цвет тела, как у живой... да и вся она в целом пышет здоровьем. Дрожь пробежала по телу Притыкина, страшно ему стало. «Какой же негодяй так разделался с красавицей или сама утопла?» – размышлял он.

Прибежав домой, он долго не мог найти себе место. Хотел позвонить Кабанцову, потом участковому, но передумал. Немного уняв нервную дрожь, Михаил взял фонарик и вновь поспешил к реке. Он внимательно изучил тело: следов побоев не находилось, в общем ничего такого, что свидетельствовало бы о насильственной смерти – она даже сияла вождельно... После этой несложной процедуры Притыкин неумело перекрестился на всякий случай, и решил никому об этом пока не сообщать.

Весь день он не находил покоя, бегая по избе мучимый странным желанием видеть и видеть утопленницу, а как только стемнело, побежал на реку.

Он находился там почти до рассвета, любуясь в лунном свете своей странной и страшной находкой. Последнее его уже сильно не пугало, потому как сам того не ведая, стал влюбляться в ледяное изображение, принимая это как знак судьбы. Михаил нежно гладил шершавой рукой лёд, под которым скрывалось её лицо, волосы, шептал что-то лирическое, и терзаемый мыслью, что буквально через полтора, два месяца начнётся ледоход и его красавица исчезнет, он решился на отчаянный поступок.

На следующую ночь Притыкин прихватив санки, веревку, топор и ножовку, принялся решительно извлекать свою красавицу из ледяного плена. При этом он старался, чтобы не одна прядь волос не пострадала при этом, не говоря уже об остальных частях тела. Он её, конечно, похоронит потом по-человечески, но сначала пусть она в своём ледяном панцире постоит у Притыкина на веранде: он будет любоваться её. Никто не знает, каких усилий ему это стоило, можно лишь догадываться, как он это проделывал. Но долгий процесс был завершён, и к утру ледяная красавица уже стояла у него на веранде, прикрытая старым половиком.

Часам к одиннадцати с хлебом пришел Вася-утконос, он же Кабанцов.

– Я вот что думаю, – начал он с порога, – Надо тебе, Миха, врачу показаться... этому... пластическому. Может соберет кое-что с ушей, с подбородка, со лба и натянет на дыру... рот, я думаю, не сложно будет сделать – отверстие и всё... а вот с носом будет сложнее, но они ж специалисты!.. А так до ишачьей пасхи ждать надо, пока новое лицо нарастёт. А нарастёт ли, ещё неизвестно.

Притыкин стоял к нему спиной, а когда обернулся, то из рук Кабанцова выпала буханка. Михаил был с лицом, словно оно никогда не исчезало, мало того – оно было с горящими, почти безумными глазами, и с улыбкой до ушей.

– Мать моя женщина, отец большевик! – попятился назад утконос. – Я, кажется, схожу с ума! Нет лица – есть лицо! Это как же?..

– А я влюбился, Вася!

– А кто она, Мишаня? Неужто не из наших краёв? Да и где ты мог найти такую, чтобы влюбиться? А она как же?.. ведь ты без лица был, да и дальше калитки не выходил, разве что ночью?..

– Да ты угадал, она не из наших краёв, приезжая она... приплывшая... – опустил глаза в пол Притыкин. – Но ты только не пугайся, она очень красивая.

– Да я, Миха, уже пуганный перепуганный! Что может быть страшнее человека без лица?

– Страшнее только красивая баба, Вася.

– Покажи, покажи её!

Притыкин показал. Нашатырного спирта в доме не было, поэтому в чувство утконоса приводили с полчаса.

– Она, она уто-пппп-ле-ница-а... – лепетал тот, приоткрывая один глаз. – Ты с ума сошел! Нас с тобою вместе посодют.

– Не посодют, ежели не стуканёшь. Немного баба растает, похороним, как следует.

– Потом снова лицо потеряешь. О, горе мне стобой!

Придя на следующий день Кабанцов уже без особого страха, разглядывал бабу-ледышку, находя её очень красивой.

– Жалко, конечно, будет с ней расставаться, вон какая прелесть неопишуемая, просто картинка... и ноготочки разукрашены, тонкая, изящная... а губы, губы, Миша, прям поцеловать хочется!.. И реснички одна к одной!..

Они переворачивали глыбу и так, и сяк, рассматривая всё до мелочей, та лишь потихоньку таяла под их горячими руками.

– Это ж надо такую красавицу изничтожить, – продолжал бормотать Кабанцов. – А может она сама в реку бросилась. Разлюбила видно и в реку!..

– В таком виде и в реку?

– Да, прям с постели и в реку... не одеваясь. Эх, какая! – ножки, шейка точенные, грудь что надо! Скоро ледоход, Миха, может пустим её – пушай дальше плывёт! – настороженно закончил Кабанцов.

– Можно и так, яму хоть не копать, – согласился Притыкин.

И хоть им было жаль расставаться с этой страшной находкой, но придя к этому правильному решению, стали дожидаться ледохода. А красавица всё таяла и таяла под горячими руками двух мужчин: они ежедневно и непрерывно вертели её во все стороны, анализируя параметры тела, черт лица, находя их безупречными. И как-то Вася-утконос при очередном осмотре высказался.

– А не кукла ли это?

Это прозвучало для Притыкина, как выстрел из пушки.

– Да-да, Миха, ты не удивляйся, счас бывают такие куклы для утех, сам знаешь, которые дорого стоят, очень дорого... халупа, Миха, твоя не стоит столько!

Эта новость была потрясающей настолько, что они оба вдруг заулыбались.

– Так тогда, Вася, и хоронить не надо будет! – радостно воскликнул Притыкин. – Пушай живёт у меня, сколько хочет. Жрать я сам сварю, в доме уберусь... баба она для красоты пусть будет! Главное что не скандальная.

– Ну, это... – Кабанцов почесал затылок короткими, толстыми пальцами, – я тоже холостой... могла бы она и у меня пожить...

– Ну и ладно, пушай неделю у тебя, другую – у меня. Хотя по-честному – я её нашел и у меня она должна больше оставаться, – резюмировал Притыкин.

– И на том спасибо, – согласился утконос.

Дело шло к весне. В середине марта к полудню была уже плюсовая температура, хотя по ночам ещё сильно примораживало. Так или иначе, весна брала своё, и нареченная красавица почти полностью освободилась из ледяного заточения. Сначала выглянули наружу розовые пальчики левой руки, потом вдруг отвалился большой кусок льда от ягодиц, головы...

– Процесс пошёл! – шумел Кабанцов, принохиваясь к её телу. – Вроде не пахнет!

– Её в тепло надо, – настаивал Притыкин. – Быстрее отойдёт, потом нюхать будешь. Трупный запах, он в тепле обнаружится быстрее.

– Да чё тут нюхать! Кукла это, Миха! Ты пощупай пальчики – точно резина или с чего их там делают... а задница, во! – И тот хлопнул утопленницу по мягкому месту, после чего весь лёд разлетелся вдребезги.

– Как живая! – ахнул Притыкин, потрогав её нос.

Потом ошупывали её вместе, убеждаясь, что это всё-таки кукла. Шарили руками в интимных местах, сняв трусики и лифчик.

Ровно через две недели река освободилась ото льда, а красавица-кукла освободилась от двух назойливых мужиков. Она просто рассыпалась в прах – переморожена была, а оттаяв, прожила недолго, затисканная в объятиях.

Хоронить её понесли в ведре. Креста не ставили. Повздыхали тяжело. Разлили по стакану самогонки. Выпили, не глядя друг на друга.

– Ты, Миха, лицо случаем не потеряешь снова? – спросил Кабанцов, он же утконос.

– Нет, Вася, не переживай. У меня Катя появилась! Из отпуска, видать, вышла.

– Какая ещё Катя?

– Какая, какая!.. Настоящая красавица!

– И где же она?

– Ты только не пугайся. Она в телевизоре.

БЕЗУТЕШНАЯ СКОТНИКОВА

Галина Ивановна Скотникова убила своего сожителя. Событие заурядное для наших мест. Ну, убила и убила, что здесь особенного? Правда, не каждый день такое бывает, потому и разговоры сразу идут – выясняют люди, за что убила, по делу или нечаянно... Если он пропойца и в огороде ничего не делает, мало того, даже воды не принесёт из колодца, то – да, есть смысл с таким сердечно поговорить...

А он и был такой, сожитель этот. Сама Галина Ивановна жаловалась соседям:

– Скотина он, самая настоящая! Ну, ничего по хозяйству делать не хочет, даже гвоздя не вобьёт в стену, только пить и пить!

Сама Галина Ивановна тоже, как говорится, поддавала неплохо. Гулеванисто время проводили и часто в спорах: кто, что, где, когда, чего-то... кому-то... Изменил ли, не изменила!?!.. В пьяных разборках истина никак не выявлялась, наоборот, часто доводила до высоко градуса нетерпимости друг к дружке. Вот и случился страшный инцидент...

Скотникова даже не поняла, как это произошло? С чего всё началось? Но делала она всю процедуру убийства весьма холодно, расчетливо. Когда приехали следственные органы, то все части бывшего сожителя, были аккуратно сложены в мусорный мешок, вот только не обнаружилось самого главного – головы. Длительный и изнуряющий допрос обвиняемой так ничего и не дал. Всё осталось загадкой, даже дотошные соседи не могли предположить, куда могла деться голова. В туалете её не нашли, в огороде – тоже, хотя тот был страшно заросшим лебедой и крапивой – «волки воют» говорят в таких случаях.

На суде Галина Ивановна вела себя несколько странно, обвиняя судей в их нежелании понять её женскую долю и то, что она до сих пор любит своего Коленьку, то есть, убиенного ею. А на вопрос, куда делась голова, она лишь плакала и раскачивалась мощным торсом из стороны в стороны, стеная при этом:

– Ну не было у него головы, уважаемые судьи! Ежели б она была, он бы так не вёл себя!

Ну, тут, конечно, встречный вопрос последовал ей.

– А как же вёл себя убиенный? По показаниям соседей, да и всех жителей села, вы проживали с ним довольно длительное время, а это говорит о том, что вы находили с ним общий язык, тем более, всегда ходили с ним под руку. Так что признавайтесь чистосердечно, куда делась голова вашего сожителя? Ведь судя по опросам свидетелей, голова у него была на месте. Это подтвердила ваша соседка Матрёнина Зоя, она так и сказала, что не будь у него головы, то куда бы ваш Коленька заливал спиртное? Смешно, да не очень. С другой стороны следствию немаловажно знать, что это тело принадлежит именно вашему сожителю, потому как вдруг он уехал, сбежал от вас, а вы в это время завели отношения с другим, и могли порешить его.

У Скотниковой после этого помутнел взор, и она закричала истерично всему залу:

– Да, не было, не было головы! – Потом упала со скамейки и, дергаясь в конвульсиях, хрипела: – Каюсь, каюсь!..

Когда её привели в чувство, похлопав по щекам и дав нюхнуть нашатыря, то она вдруг выпрямилась во весь свой могучий рост, выставив далеко вперед грудь шестого размера, тихо сказала:

– Я знаю, где голова.

Все притихли.

– Где же? – спросили.

– А голова всегда на плечах. Ейное место только там.

Когда её сажали в машину скорой помощи, проверить на адекватность поведения, она вдруг запела громко с надрывом: «А нам всё равно, а нам всё равно! Пусть боимся мы волка и сову!». Потом показывая руки, большие, натруженные, заплакала:

– Да, я этими руками не одну бурёнку выдоила! Вся жисть в коровнике прошла а вы мне тут с убийством... Да, убила я его и голову отрезала напрочь, не нужна ему такая голова!.. А как я любила его, как любила, своего Коленьку! Если б он, проклятый, не пошел бы к этой верххвостке Облудиной!..

Не посадили Скотникову. «Неадекват» – сказали, и убийство произошло, разумеется, в состоянии крайнего аффекта, тем более она длительное время провела в психлечебнице, где и выдали справку о невменяемости пациентки. Но на селе таковой её не признавали, потому, как она вполне здраво рассуждала, поговаривали, что её пожалели, выдав такую справку. Весь мужской пол, даже пьющие, стали теперь побаиваться Галину Ивановну, её чар в виде высокой и большой груди – вдруг кого-то из них выберет себе в любовники – не устоять ведь!..

Но напрасно побаивались её мужики и бабы, замкнулась Скотникова, ушла в свой мирок – редко с кем заговаривала, да и то лишь о погоде и не пора ли сеять морковь. Когда же морковь уже отсеяли, и та выскочила наверх веселыми изумрудными хвостиками, то Галина Ивановна не на шутку забеспокоилась: а не подъедят ли её снизу шахтёры? Тут, конечно же, как говорится, комментарии излишни...

Слонялась без дела целый день Скотникова, пройдётся по пустым корпусам бывших коровников (ушло стадо на убой в связи с перестройкой), слезу смахивая заскорузлыми пальцами, посидит у реки с пустым удилищем, вспоминая при этом Коленьку, когда тот в часы редкой трезвости, ловил чебака, и так проходил день. А ближе к ночи она выходила в заросший бурьяном огород, и тихо по-собачьи скуля, начинала странную процедуру по окроплению своего участка самогонкой. «Пей, пей, родименький» – приговаривала. Слышно было, как что-то булькало и причмокивало после её слов. Потом она уходила в дом, и на следующую ночь, всё повторялось.

По селу поползли упорные слухи, что Галина Ивановна кого-то прячет в огороде, подкармливая и подпавая его, и вскоре по месту её проживания приехали следственные органы и, выстроившись густой цепью, прошли по запущенному донельзя участку преступницы. А огород был настолько непролазным от дикороса, что некоторые выбрались оттуда без погон и фуражек. Майор Разбейнос отряхиваясь от пылицы конопли и полыни, сказал следующее:

– Мы, тут, господа офицеры, навряд ли что найдём, как бы самим не потеряться. Если голова зарыта в огороде, то не перекапывать же весь участок? И к тому же дело уже закрыто, а если там скрывается какой преступник, то рано или поздно он выйдет наружу для совершения преступления. Вот тут мы его и за жабры, господа!..

Уехали органы ни с чем. А ночные похождения Галины Ивановны так и не прекращались, мало того, когда её мучил радикулит, и она не могла выйти за порог несколько дней, то по ночам в её огороде слышались страшные вопли: «Пи-и-ть, пи-и-ть»! и даже грязные ругательства, но последнее может кому-то и послышалось, ведь сплетни, на то и сплетни... Болтали вроде, что голова действительно живая и не замолкнет, пока её не пришьют к туловищу. Да ещё пустили слухи, что одного полицейского вроде бы не досчитались, после той проверки... бродит где-то в зарослях и сквернословит, забывая про честь офицерскую. А сама Скотникова спокойно отнеслась к таким перипетиям в её жизни: если там и остался кто-то из органов, то пусть и занимается своим делом – ищет голову, тем более она сама не может определиться с её местонахождением: обрызгает спиртным сторону её крика – та и умолкает. Кается Галина Ивановна и по всему видать, грех её не искупим, потому как любила своего убиенного её сожителя Коленьку.

Ещё сельчане подметили, что Скотникова Галина Ивановна, стала равнодушной к местной достопримечательности в виде странного памятника, стоящего возле здания местной администрации. Памятник тот был бесхозным и постепенно приходил в негодность. Похоже, что он был изваян ещё в годы советской власти, потому как кое-какие элементы прошедшей

эпохи в виде серпа и молота, в нем проглядывались. Он был двухметрового роста и что-то державший в руках, но это «что-то» давно упало и никто не помнит, как оно выглядело. Некоторые припоминают, что памятник был поставлен в честь какого-то дважды героя социалистического труда или даже красноармейца, олицетворяющего прошедшее время.

Галина Ивановна поднималась часто на постамент и внимательно разглядывала лицо статуи, временами наглаживая его. Лицо было без носа – отвалился он несколько лет назад, остальные же части лица были целы и выразительны по форме. Она даже возлагала цветы к подножию этого памятника, а к весенним праздникам прилепила нос. Этот нос продержался недолго – через неделю отвалился, но реставрация по воссозданию пристойного внешнего вида не прекращалась. Скотникова лепила бесконечное множество носов, и в один прекрасный момент, все дружно ахнули: «Да, это же её Коленька!.. Ты, глянь, один в один! Точно его шнобель!». «Какой шнобель, такое и достоинство! – крикнула старая вертихвостка Облудина». «А за что же мы ещё мужиков любим? – разгорались споры. – За глотку разве?»

Это было большим событием в жизни сельчан, потому как других интересов практически не осталось, разве что «Дом2» по телевизору...

Все подробности воскрешения этого ваяния, бурно обсуждались взрослыми и детьми. Ставший безымянным за долгие годы забвения, памятник вдруг обрёл вторую жизнь и все озадачились, что же он теперь олицетворяет? Возлагать или не возлагать к подножию монумента цветы? Собрав сельский сход, Глава местной администрации Единый Ростислав Кизилович, насупив густые и широкие, как у Брежнева брови, высказался кратко и сурово:

– Памятник нужно демонтировать, потому как он основательно похож на убиенного гражданского мужа Скотниковой.

Кто-то из толпы выкрикнул недовольно:

– Памятник этот стоит уже лет пятьдесят, ещё при той власти поставлен этому, как его?.. Граждане, никто не помнит, кому он поставлен был?

Ростислав Кизилович, поковыряв в носу большим пальцем, и не поднимая тяжелого и сурового взгляда, продолжил:

– А раз никто не помнит – демонтировать!

– А может просто нос отбить и пусть снова стоит! – выкрикнули из толпы.

Галина Ивановна, стоявшая среди них, и слушая эти ужасные для неё слова, вдруг кинулась к подножию статуи и, оголив широкий зад, нагнула его в сторону собравшихся:

– А вот этого не видели?! – взвизгнула она, и ловко взобравшись на постамент, обхватила руками статую, – Да я за своего Коленьку, любого порешу! Только подойдите, только подойдите!.. И она сжала кулак, потрясая им в сторону толпы. Кому-то померещился в её руке обоюдоострый нож и

сход тут же разбежался по домам, побоявшись навлечь на себя гнев разбушевавшейся дамы, а глава, заскочив в свой кабинет, долго наблюдал сквозь немытое окно, как безутешная Скотникова лобызала памятник, горько при этом рыдая. Ему от страха мерещилось: она гонится за ним с большим кухонным ножом, чтобы лишить главу администрации села самого драгоценного органа – головы, которую, конечно же, не найдут, как и ту, орущую по ночам в заросшем огороде преступницы. Такая участь ему совсем была не по нраву. Ростислав Кизилович ползал на четвереньках, вертя мобильным телефоном во все стороны, ища связь, которая не всегда появлялась в этих краях, а стационарный телефон, так же, как свет, был давно отключен за неуплату. Убедившись в тщетности своих потуг по освобождению себя любимого из добровольного заточения, он решил дожидаться темноты.

Вскоре в черное, как дёготь, небо, выкатилась луна. Она высветила бледным и холодным, как сыворотка, светом фигуру памятника и женщину, лежащую у его ног. Галина Ивановна крепко спала, обнимая сапоги статуи, иногда вздрагивая и что-то бормоча сквозь сон. А мимо, осторожными шажками, крадучись, пробирался домой испуганный донельзя, глава местной

администрации Единый. Ночь была удивительно тиха и светла, как у Куинджи в знаменитой картине, лишь через равные промежутки времени, раздавалось мурлыкающе похрапывание спящей Скотниковой, да где-то в кустах слышался лёгкий шорох мышей. И вдруг тишину разрезал звонкий голос ребенка – это был писающий с балкона, пятилетний мальчик:

– Дядя, вы вор?

Для Ростислава Кизиловича это был, как говорится, гром среди ясного неба. Ему показалось, что с ним разговаривает сам ангел, свесившись с черного небосвода.

– Да я,я,я только немного, не больше других. А у нас здесь уже всё уворовано до меня, я только две лампочки у себя в кабинете... да машину угля для местной котельной, которая... и ещё, как его... а кстати, вы где? Вы собственно, кто? С кем я разговариваю?

Мальчик, довершив своё дело, скрипнул дверью:

– Мама, там вор! Он сам сказал!

Глава, осознав, всю глупость ситуации, бросился в глухой проулок, разбудив цепных собак, которые на все лады забрехали, словно по эсэмэс, передавая друг другу: «У нас неполадок».

Утро следующего дня не предвещало ничего хорошего... Галина Ивановна, проснувшись, первым делом начала сооружать некоторое подобие временного жилища из еловых и кленовых веток. Закончив, прилепила бумажку: «голодаю».

К часу дня к месту происшествия прибыли органы из райцентра во главе с тем же майором Разбейнос. Тот долго молчал, оценивая ситуацию.

– В этой акции я вижу и то и другое, – начал он, – если гражданка Скотникова защищает памятник, как символ прошедшей власти, требующей возврата к ней, то здесь дело политическое и чревато самыми нехорошими последствиями для неё. А если она видит в памятнике только своего убиенного её сожителя, то это её личное дело.

– Так тут вообще тогда ничего не поймёшь! – кто-то сказал из местных, – если памятник с носом, значит дело семейное, а если нос отпал, значит политическое?

Разбейнос помолчав некоторое время, отмахиваясь веткой от комаров и мошек, пришел к однозначному выводу.

– Надо срубить советскую символику с постамента в виде серпа и молота или совсем убрать этот памятник.

– Да, да! Демонтировать! – расхрабрился Глава администрации Единый, – я уже об этом говорил. А Галине Ивановне необходимо назначить курс лечения, а то совсем распоясалась, понимаешь!..

Решение было одобрено единогласно и к следующему дню было решено, завезти горячим единственным в селе бульдозер, и снести памятник. А Галине Ивановне тут же надели смирительную рубашку и повезли в психлечебницу на длительные процедуры.

Ночью никто не спал, всем виделось белое изваяние, которое ходило по ночным улицам и переулкам, громко вздыхая и заглядывая во все дворы, словно ища чего-то. Рассказывают, что оно долго блуждало в огороде Скотниковой и скорее всего, нашло то, чего долго и упорно искал майор Разбейнос – голову убиенного сожителя Галины Ивановны, потому как после этого душераздирающие вопли: «Пи-и-ть, пи-и-ть.» – прекратились.

А утром все были чрезвычайно удивлены и поражены: в центре села не было памятника, исчез – остался один постамент с советской символикой, ниже которой была нацарапана надпись: «я вернусь». Все ломали голову, что могла обозначать эта надпись, то ли памятник вернётся вместе с прошедшей эпохой, то ли сама Галина Ивановна, в чем мало кто сомневался – скучно без неё. Если первое – пусть будет так, может бывшая доярка Скотникова вновь будет при деле, надаивая сверх плана энное количество литров молока, глядишь, и в рюмку меньше

заглядывать будет, а если второе – то, само собой разумеется... никто не против – свои же люди...

К обеду у главы администрации затрещал телефон, несмотря за неуплату пользования связью. Звонил Разбейнос, интересовался: нет ли в селе Скотниковой Галины Ивановны? Сбежала из лечебницы.

– А у нас, нас, нас... – заикаясь, докладывал Единый, – сбежал памятник. Как, как!? Сам, своими ногами! Приезжайте, сделайте отпечаток следов!

– Странно всё это, – трещала простужено трубка, – возле психлечебницы тоже есть следы примерно шестидесятого размера... – Теперь мне всё понятно...

День был жаркий, душный, но где-то на горизонте клубились темные дождевые облака с яркими, как вольфрамовая нить накаливания, проблесками молнии. Земля давно жаждала влаги.

БРАТА ЖАЛЬ

Сон был настолько страшным, что новоиспеченный пенсионер Борис Иванович Хлебцов, подскочил на кровати и долго сидел с выпученными в темноту глазами, постепенно приходя в себя. Сердце билось учащенно: он долго держал указательный палец на запястье левой руки, отсчитывая удары пульса – девяносто пять!.. восемьдесят два... семьдесят пять...

Кое-как успокоившись, он поглядел на спящую жену, та тихонько похрапывала, подложив руку под щеку. Борису Ивановичу хотелось разбудить её, рассказать о том кошмаре, увиденном во сне... а рассказать – значит пережить всё с самого начала... и он решил дождаться утра, вдруг всё позабудется. Но он так и не уснул от яркого и дурного впечатления. Взглянул на часы – было шесть утра, и рассвет уже занимался: кричали петухи, пели птицы расчудесными голосами, приветствуя начало нового дня, где-то плакал ребенок, выкрикивая пискляво: «Не хочу в садик, не хочу!» гавкали собаки.

Борис Иванович умылся, поскрёб дешевым и тупым станком щетину на лице, заглянул в спальню: супруга так же спала, не ведая о вселенской печали мужа, которому вчера исполнилось шестьдесят лет, и немногочисленные их гости в виде соседей по подъезду, дружно поздравляли молодого пенсионера с его юбилеем. Эта дата его не так испугала, как прошедшее пятидесятилетие, ведь пятьдесят – особый психологический рубеж человека, заставляющий мысли и чувства привести в порядок, а шестьдесят – это пенсия! Это смирение с возрастом, это надежда на некоторые годы относительного материального и физического благополучия...

Но как, ни крути, возраст есть возраст, и Борис Иванович стал иногда заострять внимание на своём здоровье: то прощупает печень, надавливая на неё периодически – вроде не болезненна при пальпации, то к сердцу прислушивается – работает в нужном режиме, кишечник в исправном состоянии, да и сила физическая ещё имеется – двадцать раз от пола отжимается... В общем нет посылов к беспокойству, вот только этот страшный сон!..

Борис Иванович оделся и, зайдя в ближайшую лавку, купил бутылку пива. Пить на людях было неприлично, и он направился к своему давнему другу, который с утра, как правило, был в гараже, копаясь в старенькой иномарке.

– Доброе утро, Михалыч! – радостно крикнул он в полутемный зев гаража. – Ты, как всегда, в мазуте. А день-то, какой!.. Так и шепчет!..

– Привет, давно не заходил! – прохрипел тот из ямы. – Помоги лучше, там ключ на семнадцать – не дай шкиву проворачиваться, я ремень накину!..

– Что опять зажигание?

– Да ни говори, – побряхтывали снизу, – вечно мне с этим ГРМ возня... как, понимаешь, газану! – он проскакивает... новый надо. Мне кажется, что я и помру в этой яме, даже вылезать не надо. Тут и могила мне будет.

Бориса Ивановича передернуло от последних слов вечного механика, а тот продолжал, фантазируя.

– А по мне так лучше в этой яме – расходов меньше. Можно даже гроб не заказывать, чтоб не тратиться, а так – в целлофан завернуть... Ха-ха!

– Ты, Михалыч, совсем ошалел что ли? Разве смерти не боишься?

– А я, Боря, отбоился. Семьдесят пять уже... сколько раз умирал... давление под двести двадцать как даст – раком ползаю, ну, думаю, вот она, вот она!.. Нет, одыбал – дальше живу. От смерти не убежишь. А чего её бояться? Как кто-то сказал: когда мы есть – смерти нет, когда смерть есть – нас нет. Расходятся наши дороги с ней, Боря.

– Жутко мне от твоих слов, Михалыч. Тут мне один сон приснился, аж страшно рассказывать. Думал, забуду, нет – сидит в голове – как сейчас вижу!.. Я тут с пивом... Ты, того – вылазь, посидим... На душе у меня плохо.

– Счас, Боря, вот-вот... ах, проклятая, наконец-то!.. Всё выбираюсь на свет божий.

Михалыч относительно ловко для своих лет, выбрался из ремонтной ямы, вытер руки тряпкой. Это был крепкого внешнего покроя человек, с дубленной сибирской кожей на лице, которая лежала гладко, очерчивая формы черепа, только дряблая шея и руки выдавали возраст. На тонком его носу сидели огромные очки с толстыми стеклами, от чего глаза всегда казались неестественно огромными от увеличения, но всегда с лукавинкой.

– Пиво, говоришь, принёс?.. Ну, давай, юбиляр! Ты уж извини, что не пришел вчера – не люблю застолие, по мне лучше вот так – один на один, побеседовать чтобы... Так, говоришь, на душе плохо? От чего так?

– Сон нехороший приснился.

– А мне всегда чепуха всякая снится! Ну, давай, не тяни.

– Мне приснилось, Михалыч, что я вроде бы умер.

– Боря, ну какая же это ерунда! Подумаешь – умер! Все мы там будем!

– Да ты не перебивай! Нет, я так не могу! Лучше давай сначала по кружечке, потом начну!.. Что-то меня аж трясти начинает!

Они разлили по стеклянным кружкам пиво, и, толкая носы в густую пену, медленно, посапывая, выпили.

Борис Иванович, немного расслабившись, продолжил:

– Сон страшный, Михалыч, вроде бы я умер...

– Тьфу, ты! И всё что ли?

– Нет, не всё! Умер я будто, а сам вижу, как мужики гроб мне колотят. Ну, думаю, так оно и надо – если человек умер, значит и ящик надо готовить. Колотят, значит, они мне ящик, а я волнуюсь страшно: вроде бы как живой, соображаю, но с другой стороны – мертвый я...

– Да, тут целая философия, Боря, у тебя. Крыша может поехать... но ты не бери в голову. А что же дальше?

– А дальше, когда они гроб сколотили, то и приглашают меня туда лечь. Но я ведь живой!

– И как бы мертвый!?..

– Вот именно. Я давай своим видом показывать им, что, мол, не собираюсь в ящик отправляться, потому как я живой, но с другой стороны, как мертвый вроде... не разговариваю, но выказываю им протест всем своим видом, гоношусь в общем, а они предлагают настырно, чтоб я того... ложился в ящик...

– Ну, замордовал, Боря, ты меня. А что же дальше?

– Дальше, Михалыч, самое страшное!..

– И что же?

– Они, эти мужики, начинают меня бить по морде!.. чтобы значит, не сопротивлялся и поскорее лег...

– Ну, и?..

– Проснулся я тут...

– Да ты, Боря, не бери всё это в голову!

– Да как не бери?! Тебе легко говорить! Вон артист Крамаров ничего такого в голову не брал и собирался жить довольно долго, физзарядкой занимался, не ел, чего попало. А на деле как вышло!.. Рак завёлся...

– Если будешь паниковать, то два рака сразу заведутся! Давай ещё по кружке, и я расскажу, что мне снится.

– Неужто, страшнее?

– Может и не страшнее, но такое же веселое, ха-ха! Снится мне тоже всякое, да я уже и привык к этому. Самое любопытное, что я тоже осознаю все во сне. Ясно понимаю, что это сон, и соответственно веду таким же образом в русле этого понимания.

– Мудрёно.

– Да ничего мудреного. Я вижу натуральных покойников, которые давно усопшие то есть. Они со мной общаться начинают, а я ведь соображаю, хоть и сплю, но соображаю... вот этот персонаж в виде дяди, или тётки, а, то и брата – покойники. Я им и говорю понятным русским языком: «Вы же покойники – нечего вам тут делать!»! А они настолько делают, понимаешь, удивлённые физиономии!.. мол, как же так? Мы пообщаться с тобой по-человечески, тем более давно не виделись... А я ведь понимаю, что по-человечески как раз и не выходит, тем более они даже обниматься с тобой лезут...

– Тихий ужас, Михалыч!

– В том-то и дело, что ужас! У меня наверно волосы в это время встают на голове, у сонного,...правда, их у меня считай, уже и нет. Так вот, Боря, у меня не остаётся выбора, как кроме!.. налей ещё пивка...

– Ну?

– Ну, и начинаю я их бить по морде тогда! Тёток, дядек!..Прогоняю прочь по своим местам. Кричу им – рано мне с вами общаться – время не пришло!

– Какой кошмар, Михалыч! Прямо по морде?

– Прямо по морде! Ну, если они не понимают!?!.. С тетками, дядьками – как-то проще... а вот с покойным братом!?!..

– Да, тут сложности... брат ведь...

– То-то и оно... а мне как-то мой дядька снился по отцовской линии (это, к примеру), он у моей матери денег подзаял (сама мать рассказывала), приличную сумму подзаял, и так и не вернул, мерзавец!

– А отец твой? При жизни ещё, не требовал с него долга?

– Отец молчал, братовья ведь. Так вот мне его не жалко было по физиономии настучать... да ладно, на том свете поговорим. Они-то должны понимать, что это всего лишь мой сон. Вот такие дела у меня с ними, Боря. Ты ещё молодой, тебе ещё бить и бить их по мусалам... этих твоих мужиков... не будь телком – бей первым! Тогда и просыпаться не так страшно будет!

– Да, Михалыч, рассказал ты!.. Мне такого ещё не снилось.

– Всё, ещё впереди, какие твои годы! Запомни – бей всех подряд!

– И даже брата?

– Даже брата. А куда деваться? Это же сон!.. С него не убудет...

– Жаль брата, Михалыч.

– И мне жаль.

– А если родители?

– С родителями надо деликатнее, мне так думается. В любом случае, Боря, не обнимайся с покойными и не подставляй физиономию. Пусть они знают, что мы ещё находимся в полном здравии. Нечего зазывать к себе

– придём в нужное время на тот свет... Нас нельзя беспокоить быстро потусторонними делами, мы в возрасте, нервные мы от того... давай-ка, ещё за пивом сходим, а может что и покрепче...

Борис Иванович так и не рассказал супруге про дурной сон, убедившись, что в нём нет ничего особенного. Он успокоился от общения с другом.

ВРЕМЯ СКЛЕРОЗА

Семен Васильевич Хренотяткин поехал в город без водительского удостоверения. Забыл дома. Всегда с собой брал, а тут забыл. Баба его часто спрашивала с тревогой в голосе, чего это он хватается рукой за сердце, как только в машину залезет, так и хватается. Потом привыкла – мужик права шупает – на месте ли.

Ехал на этот раз он без бабы. Прихворнула она. Езжай, сказала, молочка домашнего внуку отвези, мол, в настоящем молоке есть вся химическая таблица, что как раз и нужно любимому чаду. А Семен и не сомневался – он сам вырос на здоровых домашних продуктах, и всегда чувствовал себя бодро, уверенно. Даже перестроечные годы ничуть не повлияли на его внешний вид, наоборот – живот появился, и физиономия краснее стала. Держать домашнюю скотину супруги не прекращали смолоду – в этом был, по их твердому убеждению залог не только физического здоровья, но и финансового успеха, потому как домашний продукт всегда пользовался спросом на рынке.

В общем, едет Семен Васильевич веселый и довольный, пейзажу весеннему радуется: всё цветёт, пахнет, машина легко катится, «радио-шансон» по голове стучит децибелами. Любит он блатные песни – недополучил в советское время этого легкого жанра, а тут вдруг телефон затренькал в кармане пиджака. Баба звонит. Нажал он зеленую кнопку, да и спрашивает шутливо:

– Ну, шо, дорогая, не успел от дома отъехать, а ты уже соскучилась?

Баба, видать, юмор по достоинству не оценила, и потому выпалила резко и громко:

– Придурок, у тебя права с собой?

Хренотяткина прямо подбросило от этих слов. Нет, не из-за «придурка» (у них подобные выражения привычные – семейно-шутейные, так сказать), а от последней фразы о правах.

Схватился он рукою за сердце, то бишь за то место, где должны быть документы, а их там нет – пустой карман.

– А я тебе говорила, тентен надо уже принимать! Не молодой ведь! – жужжала, как насекомое в ухе баба, – склероз – штука сурьезная!

От такой неожиданности он стал вилять по дороге, как заяц, и, сбавив скорость, свернул на обочину. Сердце громко стучало, сильнее, чем динамики радио. Он несколько раз трогал пустой карман, не веря, что он пуст. Даже залез пятернёй вовнутрь и вывернул его наизнанку – документов не было. Такого с ним ещё не происходило.

– Ты далеко отъехал-то? – продолжало жужжать насекомое, – ежели чего, вертайся, я вынесу!

– Ну, ты мать даёшь! Я уже полчаса в дороге, ты же должна соображать – машина ведь не лошадь. К городу уже подъезжаю.

– Лучше, Семён, доехать уже до места, а то молоко прокиснет, авось пронесёт! Ты, главное делай вид, шо у тебя всё нормально.

Он зло ткнул пальцем в красную кнопку мобильного. «Главное делай вид, шо у тебя всё нормально... авось пронесёт... как же – конечно пронесёт...». – Прощедил он зло сквозь зубы.

Хренотяткин заглушил мотор и взгляделся на себя в зеркало. Вид у него был нехороший. Морда стала ещё краснее, буквально свекольного цвета. Так бывает, когда повышается кровяное давление. «Вот тебе и раз! – испугался он не на шутку, – тут любой гаишник заподозрит: прав нет и морда красная, как у алкаша. Потом волокита всякая с выяснением обстоятельств, штраф, и т. д. и т. п., пешком отправят домой за правами».

Долго он размышлял: ехать в город или назад, к дому.

Решил к дому.

Развернулся и ударил по газам. Проехал немного, и вдруг почувствовал: что-то неладное происходит сзади. Кожей почувствовал, всей спиной буквально – мурашки по ней забегали, а когда увидел в боковом зеркале, что его нагоняет патрульная дорожная машина, то эти самые мурашки перебрались в огромный живот Семена Васильевича. И вот в связи с этим напуганный донельзя новым неожиданным обстоятельством, незадачливый водитель отечественного автопрома, вновь стал вилять по-заячьи: то влево его забросит, то вправо – руки дрожат на баранке, вот машина и выделяет кренделя.

А дорожная автоинспекция, конечно же, всё видит: у них глаз наметанный – пьяный, однако. Догоняют они Хренотяткина и включают сирену. А потом ещё зычно по громкоговорителю объявили: водитель машины такой-то, с таким-то номером, примите вправо и остановитесь!

Хренотяткин Семен Васильевич, водитель с большим стажем, почему-то всегда боялся автоинспекции: вроде всегда соблюдал правила движения, окаянных пешеходов всегда пропуская в положенном месте, даже кваса не принимая на грудь в самые жаркие периоды, но... но вот какая-то нервозность наступала при виде стражей дорожного порядка.

В общем, испугался он и начал тормозить: хорошо, думает, что педали ещё не перепутал при этом.

Остановился и опять думает: а что же дальше делать-то? прав нет, морда красная и всего трясёт, тем более родная милиция вдруг стала полицией и неизвестно, что у них там на уме, хотя и раньше с нарушителями не шибко церемонились...

Обогнав Хренотяткина, казенная машина, выключив сирену, тоже затормозила, и оттуда вышел человек с полосатой палкой.

Семен Васильевич знал, что последует дальше: конечно же человек в погонах представится вежливо, козырнёт при этом и спросит эти самые права, которых у него... ну, сами знаете.

Тучный служивый при погонах и с полосатой палкой медленно приближался к «нарушителю», в то время как сам водитель мучительно размышлял, что же делать ему в этой нелегкой ситуации. А состояние последнего было не то, что отвратительным, а просто хуже некуда. Хренотяткин вновь глянув на своё отражение в зеркале, пришел к единственному спасительному решению – надо бежать! Бежать, сославшись на что угодно: «Ну, испугался – с кем не бывает – вдруг ненастоящий инспектор, а бандит, ну рези в животе с коликками... скрутило, в общем».

И пока он приходил к такому решительному действию – живот на самом деле скрутило со страшной силой; не продохнуть, ни... и Семен Васильевич резко открыв дверь, с криком: «Ой, не могу!», бросился в придорожные кусты, на ходу сбрасывая штаны.

Сидел он там долго, но инспектор уезжать не торопился, он ходил без конца вокруг стареньких «жигулей», заглядывая в разные места транспортного средства. Даже в выхлопную трубу заглянул. А Хренотяткин всё ждал, осторожно выглядывая из-за кустика, наконец тот не выдержал и крикнул в его сторону:

– Ну, где вы там, товарищ водитель? С вами всё нормально? Может скорую вызвать?

«Хорошая всё-таки полиция, думал несчастный, зря я так – вон и „скорую“ вызвать готовы, по-человечески всё... а может выйти да и объясниться? но ведь стыдно... что же, скажут, Семен Васильевич, вы так сдрейфили, что извините, обмарались даже!» И тут припомнилось вдруг как ещё в советские времена, будучи бригадиром строительного участка, Семен Васильевич Хренотяткин, имеющий на груди значок ударника коммунистического труда, пребывал в похожей нелепой ситуации. Его вызвал как-то директор предприятия Рыловский Федот Лукьянович, и тяжелым проницательным взглядом уставился на бригадира. Конечно, здесь нет смысла утверждать – воровал ли сам Рыловский или просто брал в некоторых количествах с вверенного ему хозяйства, но уличив последнего в неблагоприятных делах, стукнул кулаком по столу и закричал багровея:

– Да до каких же пор ты будешь воровать?

Хренотяткин не ожидал такого поворота в их отношениях, потому как до этого всё было ровно и уважительно, но возможно бригадир потерял уже всякую осторожность и хватил лишнего, потому и такой выпад в его сторону получился. Прямо сказать – неожиданный выпад. Долго, видно, приглядывался Рыловский к нему, исподтишка следил и наконец не выдержал – терпелив был, до поры, до времени, как говорится.

В общем – было худо в тот момент Семену Васильевичу. Очень худо: «как же так, брал потихоньку, все ведь берут, и тут рраз и на тебе!»

От страха тогда с бригадира слетели брюки. Буквально свалились к ногам. Ремешок лопнул почему-то (на последней дырочке он был), и брюки упали. Хорошо, что в кабинете больше никого не было. Но, так или иначе, про этот конфуз узнала вся бригада и Хренотяткин сразу же уволился. И вот что-то подобное происходит сейчас, но ведь он не нарушил ничего: ну, нет прав, ну вилял, ну морда наконец красная... у многих чиновников морды красные... мучительные эти воспоминания...

И вот он принимает нестандартное решение, но на его взгляд единственно верное – бежать. Нет, сначала упасть на живот и ползти, а потом бежать.

Бежал он долго. Уже, далеко от обочины дороги, в перелеске, налетев на толстое сухое дерево и свалив его с хрустом, упал навзничь. Хруст упавшего дерева, Семен Васильевич, принял за выстрел, чем ещё больше нагнал на себя страха.

Лежал долго прислушиваясь к всевозможным слухам. Постепенно немного успокоившись, прополз ужом на одинокую голую сопку, и ничуть не удивился, что машины его нет. «Теперь ещё платить за эвакуатор...».

Смеялась вся деревня над Хренотяткиным. Его благоверная настаивала на обязательном стационаре Семена Васильевича ввиду нервного заболевания, но тот ни в какую... пропил только «тенотен», чтобы склероз не так мучал. Машину продал и купил коня с бричкой. Только при встрече с автоинспекторами по привычке шарит рукой по карману, где сердце, права, мол, при себе... А так всё по-прежнему: занимается хозяйством и прочее, а внуки сами к нему за молоком ездят – настоящим, деревенским.

ГРИГОРИЙ И БЕНДЖАМИН

Григорий Сероштанов, немолодой человек без образования и семьи, жил тихо и бедно. Жил настолько тихо, что казалось, живёт только его тень, а не он сам. Его небольшой дом был старым, почерневшим от времени, с растрескавшимися брёвнами и гудящими в их глубоких расщелинах осами и шмелями. Крыша с изодранным в прах рубероидом, прогнулась настолько, что готова была рухнуть в любой момент самостоятельно, не ожидая никаких природных катаклизмов. Окна искривились, придавая ветхому жилищу косоглазие и лёгкий испуг.

Внутри дома полы были вздыблены особенно в кухне, да так, что середина комнаты представляла собой некое подобие горной вершины, словно в подполе жило огромное чудовище и готовилось вот-вот вылезти на свет божий. С одной стороны этого деревянного взгорья, у входа, стояла разлапистая кривая печь, с другой, не теряя архитектурный стиль интерьера – перекошенный стол. Ещё был кухонный шкаф, такой же старый и серый, а в другой комнате – деревянный шифоньер советского покроя и кровать с панцирной сеткой, да маленький выпуклый телевизор. Это было всё богатство, доставшееся Григорию Сероштанову по наследству.

Сам же он был не общителен, нелюдим. Напивался когда сильно того хотелось, но нигде не появлялся в нетрезвом виде. Сажал Григорий ранний картофель и возил его на городской рынок, были ещё кролики, куры – тем и промышлял. Сколько ему лет он сразу бы и не ответил, потому, как не заострял на этом внимание. Он выглядел всегда в одной поре, как будто время остановилось на нём, не посчитав нужным хотя бы слегка пробороздить на его смугловатом и худом лице, некое подобие старческих морщин. А морщины должны уже быть – Сероштанов давно на пенсии. Справедливости ради необходимо отметить, что Григорий на государственное пособие вышел довольно рано – в сорок восемь лет за какой-то советский «горячий цех», о котором никто толком не ведал.

Жил Григорий скромно, экономя, буквально на всём, и вот однажды он обнаружил у себя значительную, по сельским меркам, денежную сумму – на корову хватит – дойную, породистую, а может и на подержанный иностранный автомобиль. А нужна ли ему была эта корова или тот же автомобиль, он не знал. Григория обуревали другие мысли, тяжелые, как свинец, давившие мозги ежедневно, ежечасно: что будет с рублём? Не будет ли дефолта?

Он каждое утро пересчитывал деньги, бережно перекладывая их из одной стопки в другую, но Сероштанов знал, деньги в одночасье могут потерять своё номинальную стоимость – так уже было, дважды было на его памяти. Первый раз при кончине советского Союза – пропали все накопления, которых хватило бы на новые «Жигули». А при последнем обвале рубля, он потерял не только накопления, но и жену, и всё из-за того, что Григорий упрямо стоял, боялся связываться с иностранной валютой. Рассорились они в пух и прах, как говорится, и Григорий был вынужден уйти, оставив жене городскую квартиру, а сам перебрался в родительский дом: «Лох, он и в Африке лох!» – услышал на прощание от своей благоверной. И вот теперь он снова стоял перед выбором...

Сероштанов боялся, чувствовал, к цыганке не ходи: как только у него заводятся копейка – жди дефолта. Словно кто-то сверху зорко следит за ростом его благосостояния, чтобы тут же наказать Сероштанова, мол, нечего богатеть всякому смерду. Богатый он вовремя переведёт свои накопления в твёрдую валюту – третий потому что, ловкий и хитрый, а Григория жизнь бьёт, бьёт, а он не становится мудрее. Если разобраться, то он вовсе и не дурак – комплексы проклятые, недоверие к чужим деньгам, свои-то роднее, привычнее, да и государство не должно ведь бросать на произвол судьбы таких, как Сероштанов – по крайней мере, ему так думалось. Мучился он буквально физически подобными размышлениями, даже аппетит пропал – похудел за месяц, хотя и так был сух словно саксаул – жилы одни.

А в вечерних и утренних новостях по телевизору говорилось о курсе валют к рублю, где доллар занимал весьма устойчивую позицию, а временами ударялся в рост. Сероштанов постоянно волновался, прикидывая возможности своих рублёвых сбережений, если бы они были переведены в иностранную валюту. С одной стороны – выиграл бы он, с другой – не было бы дефолта, в чем бы выиграло государство, потому как не обменяй он деньги – погорит не только он, но и государство, из-за дефолта, разумеется. Закон подлости не должен на этот раз сработать – Григорий теперь мыслит на уровне министра экономики!.. Только всё же противно ему – деньги чужие, не привычные доллары эти... но он решился. Жена бы одобрила его мужественный поступок!

В районном отделении сбербанка Сероштанов страшно волнуясь, выяснил у красивой девушки за толстым стеклом, как меняются деньги, и, узнав курс обмена, засел в уголочке, подсчитывая возможности рубля при покупке валюты. Вышло ровно тысяча долларов. И когда ему в потные и горячие ладони легли всего десять купюр, вместо солидной пачки рублей, Григорий заволновался – он впервые держал в руках иностранную валюту.

– Как мужика зовут? – спросил он, у кассирши, тыча пальцем в изображение на банкноте.

– Это бывший президент Америки, – ответила, улыбнувшись, красивая и молодая сотрудница банка, с зеленым галстуком на тонкой шее, – и зовут его Бенджамин Франклин. Всего вам хорошего, дедушка!

«Ишь, ты – дедушка... надо же?! Паспорт проверила. Неужели я настолько стар – бормотал Григорий, широко вышагивая в сторону автовокзала. – Мне ведь всего пятьдесят семь,.. а ведь, однако, она права – старость...»

Дома он долго разглядывал каждую бумажку, увеличивал лупой портрет президента и находил, что тот удивительно похож на него самого, только Григорий гораздо худее, правда ещё волос короче и реже, а так полное сходство. Удивлялся этому Сероштанов. На радостях он даже напился в тот вечер, а утром, протрезвев, засомневался в своём поступке: правильно ли он поступил, обменяв рубли на доллары! Не обесценится ли доллар? И почему бы не оставить их на вкладе в том же банке под проценты? А если власть поменяется в одночасье, как уже бывало, то кому нужны будут эти серо-зеленые бумажки?

Головную боль приобрёл Сероштанов от этой валюты. Самое страшное, что ему приходило в голову – это их сохранность. Несколько раз на дню он перепрятывал деньги в самые разные места, то в старый нерабочий самовар, то под хлипкую половицу, то в грязное бельё в шифоньере – нигде не было надежного места от опытного глаза вора – так ему казалось. Продолжалось это целую неделю, потом ему сон приснился: будто сидит Григорий щи пустые хлебает и тут слышит стук в дверь. Ему это показалось в диковинку – никто к нему не ходит, может жена вернулась... вернулась с разговором серьёзным: Давай, мол, Григорий, собирай манатки, поедем в город, люблю я тебя и прости – мы все лохи. Но заходит в избу не супруга его, а сам президент Бенджамин. Заходит и представляется:

– Бенджамин.

Григорий как бы не очень и удивился этому, но внутренне напрягся, ведь не каждый день американские президенты в гости ходят к простым российским мужикам, тем более давно покойные.

– Григорий Иванович, – представился Сероштанов, приподнимая зад с табуретки.

Представился, а сам всё разглядывает гостя и к великому удивлению видит, что у того сапоги в грязи. Тот, уловив взгляд хозяина дома, махнул раздосадовано рукой.

– Грязь. Всюду грязь.

– Да, уж чего-чего, а этого добра у нас завались. Вы, извиняюсь, господин президент, часом не заблудились?

– Да, нет, Григорий Иванович, вы же сами меня пригласили по вопросу ваших денежных накоплений.

– Господи! – воскликнул Сероштанов, – так я же только с надеждой припрятать их хорошенько.

– А не надо и прятать, – сказал гость, присаживаясь за стол и смахивая с него крошки. – Чаем хоть угостите?

– Чай, это запросто, – засуетился Григорий, – только вот по поводу накоплений: вы предлагаете...

– Я предлагаю их пустить в дело. Деньги, Григорий Иванович, не должны лежать без дела – деньги должны прибыль нести.

Чешет затылок Сероштанов: выходит Бенджамин прав, ведь у них там, у этих американцев, будь они неладные, всё просчитывается до мелочей.

Долго они беседовали на житейские темы, а между тем Сероштанов всё приглядывался к своему гостю и находил, что они действительно похожи, только с большой разницей – тот президент, хоть и бывший, а Григорий – простой мужик – лузер, лох.

Побеседовав, Бенджамин попросился переночевать у него, но ни где-нибудь, а в погребе. Сероштанов был очень удивлён такому желанию гостя, но отказать не смог, потому как президент настойчиво просился именно туда. На прощание Бенджамин подарил хозяину несколько мятых купюр со своим изображением. Сердце Григория бешено стучало. «Странно, очень странно». – Думал Григорий. Когда же удалился важный гость, бережно прикрыв за собой перекошенную дверь, то в дом ворвалась та самая молодая и красивая кассирша, выдавшая ему тысячу долларов США. Она повисла на шее Григория и говорила, говорила, задыхаясь о любви к нему, о том, как они удвоят накопления, потом утроят, потом... и будут счастливы вместе.

Сероштанов задыхался от её жарких объятий, мычал, подпрыгивая на старой кровати, пока больно не ударился головой о бревенчатую стену, из щелей которой посыпался мелкий перепревший мох.

Григорий проснулся и долго не мог прийти в себя от такого яркого и необычного сновидения. За окном уже серел рассвет, и слышны были редкие крики петухов. У него болела голова. Поставив греться чайник, он умылся и подошел к зеркалу: «Глупости, не похож.. совсем не похож, с чего это я взял... а почему он попросился переночевать в погребе? Не кроется за этим какая-нибудь подсказка? Может, там клад зарыт?»

Он взял фонарик, ключ от погреба и, спустившись туда, убедился – глупости. Он с детства знал этот погреб, даже копал с отцом на пару, ничего там подобного быть не может, тем более в их селе и богатых людей не было никогда. «Скорее всего... скорее всего – здесь нужно спрятать деньги!» – осенило Сероштанова.

Так он и сделал. Скатав в трубочку деньги, он сунул их в пластмассовый пенал, прижав сверху плотной крышечкой и проковыряв отверстие в стене погреба, замуровал.

На душе вроде бы стало легче. В погребе много места – сколько там можно нашпиговать подобных пеналов и в каждом по тысяче долларов!.. Только сам погреб буквально, как у нас говорят, на ладан дышит: середина провисла, тварило прогнило основательно – по-хорошему надо новый погреб копать. Григорий планировал: будет жить, будет погреб копать.

Ночью ему снилась вновь молодая и красивая сотрудница банка, она продолжала клясться в любви к Сероштанову, прижимаясь к нему всё плотнее, своим упругим и горячим телом. В порыве страсти она вдруг стала громко мычать, как корова. Григорий, страшно волнуясь, хватался руками за её гибкий стан, он желал её. Правда, ему не нравилось, что кассирша мычит вместо разумных слов. И это мычание всё усиливалось и усиливалось. Он проснулся. Он уже соскочил с кровати, а мычание слышалось всё громче. Подбежав к мутному окну, Григорий увидел у своего погреба темные человеческие фигуры. Люди громко сквернословили. Холодный пот выскочил на теле Григория: «Да кто же мог распознать его тайный умысел? И причем здесь корова?» И схватив топор, он выскочил на улицу.

Корову вытаскивали до самого утра. Не выдержала гнилая крыша погреба забредшую соседскую корову.

Когда рассвело, Сероштанов увидел то, что когда-то называлось погребом. Это была воронка после бомбёжки. Корову, говорят, тут же прирезали из-за сломанной ноги, а Григорий целый день ковырялся в яме в надежде найти маленький пенал с долларами. Не нашел. Он даже просеивал землю через панцирную сетку кровати – не нашел. Он три дня копался в земле, словно червь, но желаемого не обнаружилось. Возможно, скромных размеров пенал застрял между копытом коровы, а потом где-то и выпал, или хозяева скотины обнаружили его, да и возрадовались – будет им компенсация... возможно...

Только с тех пор не стало видно Григория в том селе. Никто не знает, куда он исчез. Может он пошел к своей старой жене на поклон, так сказать, может к молодой и красивой кассирше сбербанка, но навряд ли – зачем он ей без денег. Только ночами кое-кто видел, говорят, темную фигуру с фонариком у заброшенного бывшего погреба Сероштанова: то ли он сам всё ещё ищет деньги, чтобы вложить их всё-таки в прибыльное дело, как и советовал Бенджамин, то ли это случайные люди ковырялись в земле прослышавшие о тайном кладе Сероштанова Григория Ивановича.

ЗАПАХ СОЛНЦА

Нам завяжут глаза, чтобы мы не поранились светом
И поднимут в клетки в странный мир, где одна тишина.
А потом мы умрём опьяненные радостным ветром...
...Нам закроют глаза...
Сергей Вишняков

Я, взяв за правило о каждодневном выгуле собственного тела по набережной речки Сырой, направился, как всегда, к излюбленному месту, где покоился огромный валун в виде конской головы. Там уже кто-то был. Этот кто-то, к моему удивлению, представлял собой нездешнего старика, с длинным седым волосом на голове, страшно худого с вытянутым морщинистым лицом и блёклыми навывкат глазами. Я прошел мимо, с удивлением поглядывая на незнакомца. Тот сидел неподвижно в сгорбившейся позе павшего ангела, и моё присутствие, похоже, никоим образом не волновало его. Мне нравилось бывать именно у этого камня, совершая свой вечерний моцион (думалось легче о нашей брэнной жизни), и потому я стал буквально сновать челноком у его носа, пытаюсь таким образом выразить своё недовольство к новоявленной персоне.

Человек по природе эгоистичен: я считал – этот камень, у которого я постоянно расхаживал в часы душевных смут, принадлежит только мне. Только для меня он являлся некоей отдушиной, наконец – исповедальной, от которого шла успокоительная аура, приводящая мои расстроенные чувства в относительное равновесие. Мне это единение казалось странным, как и то, когда часами смотришь на вечерний закат солнца или безбрежное пространство водной глади. Возможно, причина этого родства кроется в глубинах нашего подсознания, когда человек представлял собой только жалкое подобие разумного существа, зарождаюсь из хаоса вселенной, тогда, скорее всего, и язык общения был один у деревьев, камней, воды... у всего остального.

Старик не обращал на меня никакого внимания, продолжая сидеть в той же позе, а когда я остановился буквально у его носа, пристально вглядываясь в не моргающий пространственный взгляд, то так же не удосужился внимания к себе. Он, казалось, сам был камнем и меня от этой мысли, на некоторое время, охватил испуг, но когда тот пошевелил дряблыми большими губами, обнажив редкие желтоватые зубы, я, успокоившись, решил заговорить с ним.

– Извините за любопытство, я вас впервые вижу, тем более в таком странном месте, где кроме меня практически никто не бывает. Вы, не местный, как я вижу?

Старик шумно вздохнул и на мой вопрос только сильнее поджал под себя длинные ноги, обхватив их жилистыми руками. Он слегка задрожал всем телом, возможно от старческой немощи, возможно от холода, потому как его одеяние было абсолютно непригодным для этого времени года – оно было ветхим под стать самому владельцу гардероба.

«Наверно слепой и глухой», – подумал я, обходя старика со всех сторон. Если бы у меня, на данный момент, были кисти и краски, то, не колеблясь, запечатлел бы этого безумца – уж очень он колоритен своим обликом! – форма и только форма может принести успех на любой художественной выставке, даже в ущерб содержанию. Такой натуре может позавидовать любой ваятель, даже те, кто толком не умеет держать в руках карандаш. Скажут: «Это выдумка! Но как он потрясающе реалистичен и прекрасен! Правда, немного походит на лошадь, но кто из нас к старости не напоминает кого-то из братьев наших меньших?!»

– А я, возможно, и есть лошадь. – Послышался слабый с хрипотцой голос, исходящий буквально из самого камня.

– Этого не может быть! – воскликнул я ошарашенный не столько отсутствием его глухоты, сколько угадыванием мысли. – Но вы человек! Это однозначно!

– Увы, я пытался им стать... я хотел понять...

Старик прокашлялся, подставляя ко рту сухонький костлявый кулак. Я стоял визави – его взгляд был такой же отсутствующий, бессодержательный.

– Вы не местный? – спросил я.

– Почему же, – ответил он, – ещё какой местный!.. просто ты не видишь...

– Мне кажется, не видите вы! – воскликнул я запальчиво.

– Да, я не вижу, ты прав. И не от старости, представь себе... а если я расскажу тебе свою жизнь – ты не поверишь, потому что не видишь.

– Видишь, не видишь! – передразнил я старца. – А где вы проживаете в нашем поселке, сходить бы по этому адресу?!

– По улице Таежной тридцать восемь. Один я там... проживал. А ты знаешь, когда подняли последнюю лошадь из под земли? – повернул он ко мне голову.

– Вы это о чем? Лошади, к счастью, живут на земле, а не под землёй.

– Ну, вот, ничего ты не знаешь. Последняя лошадь была поднята на поверхность буквально вчера!

– Если вы о шахтерских лошадях, то в тысяча девятьсот девяносто девятом...

– Враки! – сипло выкрикнул он мне в лицо. – Мне лучше знать!

Он вновь уронил голову на колени и дрожащим голосом тихо запел: «А моло-до-ого ко-но-го-она несли с разби-той го-ло-вой».

«С ума сходит, что ли? – пронеслось у меня в голове, – странный персонаж».

– А ты знаешь, кого несли с разбитой головой? – вдруг прервал старик песню.

– Кого же? – спросил я.

– Петра Кудякина! Его мерзавца! А кто ему голову разбил? А, кто?

– Ну, знаете...

– Я, я ему разбил! Задним копытом! Ха-ха-го-го! Ты, мил человек, беги, беги за красками пока я в настроении. Рисуй меня, а я в это время тебе расскажу так-кое!..

Предложение было настолько заманчивым, что я быстрее ветра слетал за рисовальными принадлежностями, и, выбрав нужный ракурс, стал набрасывать контуры этого необычного явления, в виде престарелой личности, считавшего себя лошадью.

– Ты волков не боишься? – спросил он, как только я приступил к работе.

– Да, как сказать... их у нас тут просто нет, не водятся.

– А мне кажется, есть. Чует моё сердце. Боюсь я, потому что стар и слеп. А как ты думаешь, – вновь спросил старик, – гуманно ли оставлять слепую лошадь на съедение волкам?

– Не гуманно, когда они есть. А когда их нет, то здесь – полная свобода, как у художника. Не переживай, я доведу тебя на Таежную тридцать восемь.

– Лучше не надо. В прошлое уже не вернуться, – вздохнул он тяжело и пожевал свои толстые губы, словно в них были удила.

Я тогда не придал никакого значения его словам, а жаль, возможно, эта история имела бы другой конец. Но всё по порядку.

– Ты начинай, – сказал я ему между делом, – я внимательно слушаю. Твоя история, возможно, станет достойной печати.

– Запомнишь?

– Запомню, слово в слово, если не соврешь.

– И про Кудякина напечатают?

– А как же! Его все узнают, не беспокойся!

– Хорошая была сволочь! Ну, я начну, так и быть.

– Давай, я весь в нетерпении! – взмахнул я кистью, пробегая лессировкой контуры натуры. Я был уверен, что смог схватить не только абрис этой странной фигуры, но и её оголенный донельзя натянутый нерв, готовый вот-вот пойти на разрыв от внутреннего напряжения. Казалось, сама госпожа удача посетила беспокойное сердце художника. А может мне это только казалось, как и сам, невесть откуда взявшийся старик. Но я взмахивал и взмахивал широкой кистью, пытаюсь быстрее уловить абрис его необычной формы.

– Я тогда был молод и крепок телом... – начал он. – Ты сам знаешь, что такое молодость и задор. Мать моя по имени Аврора, была бесконечно рада моему появлению на свет и я, так же, впитывая её любовь, носился по зеленому степному раздолью, пощипывая сочную траву. Она радовалась моему крепкому телу и часто повторяла: «Не забывай, ты из прекрасной сильной породы тягачей. Жаль ты не знаешь своего отца, но можешь им гордиться, я слышала не раз о его подвигах на войне, где ему под вражеским огнем приходилось таскать тяжелые орудия. К сожалению, я о нем больше ничего не знаю, но согласись – мы с тобой вместе и разве это не радость!»

Да, мы были вместе, но материнская любовь постепенно угасала ко мне. Я это замечал, чувствовал, и через два года убедился в этом основательно, когда появился на свет мой младший брат. Возможно, и у людей происходит подобное в отношениях между родителями и детьми, мне это неизвестно, но печаль и ревность холодной змеей закралась в моё сердце, принося душевные страдания. Ах, если бы я знал насколько был глуп в представлениях о своих родных! Я ведь уже был практически взрослым и должен был смотреть на мир уже другими глазами, тем более мою любовь пытался завоевать человек в лице конюха Алексея. Меня подкупали кусочкам сахара, краюхой хлеба и мне непонятно было для чего существует вечный союз лошади и человека.

Однажды этот человек пытался зануздать меня и вскочить на спину. Моему возмущению не было предела: я брыкался, ржал, пытался сбросить наглого седока, носясь по загону и выделывая такие кренделя, после чего мой сахарный добродетель сорвался с моей спины и, упав навзничь, долго оставался недвижим. Ему, конечно же, была нужна помощь, но только моя гордость и злость не давала мне приблизиться к этому обманщику: я боялся, что он, как только я подойду к нему, он вновь завладеет моей спиной. Я был потрясен таким коварством, потому и оставался равнодушен к его состоянию. Вскоре Алексей поднялся, вытирая кровь, шедшую из носа, и сильно прихрамывая, убрался восвояси.

Эта странная выходка человека не давала мне покоя несколько дней. Посчитав это странный случай нелепой его прихотью, я почти забыл об этом, как вдруг этот конюх, вновь приблизился ко мне, одаривая всевозможными вкусностями со своей ладони. Я косился недоверчиво глазом на эти дары, но чревоугодие так и подмывало изнутри, стучало в мозг: возьми же, возьми, это так вкусно!

И я опять припадал мягкими губами к его ладоням. Конюх больше не пытался вскочить мне на спину – он только давал сладости и трепал мою гриву, приговаривая какой я красивый, сильный и статный. Но я и без него это знал. Мой младший брат подрастал, выражая своей фигурой нечто поджарое, как гончая собака, но гордости в нем было тоже хоть отбавляй. Он встречал меня своим веселым ржаньем поутру, когда я уже был стреноженным на ближайшем выпасе, где и ему имелось место быть вольным, но пока со свободными ногами. Да, да – я уже к этому времени привык быть стреноженным – меня это меньше беспокоило, потому, как в загоне я был снова свободным и такого задавал стрекача по кругу, что порой сшибал копытами длинные жерди, ограждающие эту территорию.

Конюх Алексей был тоже молод и вскоре наши отношения стали более доверчивыми. Он мог уже надевать на меня узду, вставляя в рот мундштук, проталкивая его за коренные зубы. Это мероприятие было тоже не из приятных, но в знак уважения к нашей дружбе, я терпел эту

опять-таки очень странную процедуру. А однажды он вывел меня на короткой уздечке в поселок, где много было необычного, а потому и любопытного. Я видел дома, где жили люди, я видел моих собратьев лошадей тянущих громыхающие по мостовой телеги, видел верховых: они так ловко взбирались на спины гарцюющих жеребцов, что моему удивлению не было предела. Зачем он мне всё это показывает?..

Вскоре всё стало понятным... Но я вновь не захотел покоряться воле человека. Я носил Алексея по кругу, взбрыкивая, пытаюсь, как и тогда, сбросить его со своей спины. Я вставал свечой, я поднимал высоко свой круп, выбрасывая задние ноги к самому небу, но человек крепко держался за мою шею. Он был частью меня. Я полагал тогда – другим может быть и свойственно быть под седоками, но почему эта участь должна быть и моей!? Человек покушался на мою свободу, как это не гуманно! В прочем о гуманизме я стал размышлять совсем в другой ситуации, более страшной и более даже, я бы сказал, не человеческой.

...А ты пиши, пиши мой портрет, может кто-то и узнает меня... хотя в таком виде навряд ли. А зовут меня Рубин. Мать почему-то не удосужилась при рождении дать мне имя – меня так Алексей окрестил. У меня ведь на лбу яркая звездочка пылает... пылала... сейчас её не видно, однако. Время всё стирает. Так вот – поддался я тогда человеку, не смог его сбросить, правда, сбрасывал я его и после этого случая, но тот был так настойчив в своих устремлениях, что я в конце концов покорился его воле. А что собственно здесь такого? Ну, сидят на тебе, ну едут куда хотят... привыкаешь ведь... накормят ведь, напоят... а ты пиши, пиши...

Но однажды... страшно даже вспоминать тот день. Однажды мне завязали глаза. Пришли какие-то люди и велели Алексею сделать это. «Пора уже» – сказали они.

Эта безобидная выходка людей обернулась для меня самым страшным событием в моей жизни. Повязку не снимали несколько дней. Ты не представляешь, что такое быть без света!.. Я ел, пил, гулял, осторожно переступая ногами, потому как мгла окружающая меня со всех сторон, только пугала и заставляла больше прислушиваться к звукам даже собственного дыхания. Я весь уходил в слух. Он был для меня единственной информацией в этом непроглядном мире, ну разве ещё запах рук моего молодого хозяина, и... солнца. Да, да, ты не ослышался – запах солнца! Об этом кричали все лошади мрачного подземелья, куда я впоследствии и попал.

Это был переломный момент в моей жизни. Я, наивный, ждал того времени, когда Алексей снимет с меня эту страшную повязку и всё будет, как и раньше. И с меня её действительно сняли, но прежде я был спутан ногами и в лежащем положении спущен куда-то в тартарары. Я ощущал всем лошадиным естеством – меня опускают в самую, что ни на есть, преисподнюю. Сердце моё бешено билось и я, казалось, терял рассудок. Позже я узнал – многие здоровые особи, опускаемые в подземелье, не выдерживали этой психологической нагрузки, и погибали уже в самой клетке, не успевшей даже опуститься к месту назначения. Эта участь ранней кончины, к счастью, а может, и нет, обошла меня тогда стороной, но потрясение моё было столь велико, что я долго не мог прийти в себя, лежа на боку уже со снятой с глаз повязкой и свободными конечностями.

Я лежал, не открывая глаз, а уши мои уже слышали пронзительное утробное ржанье моих собратьев и их топот копыт. Они бежали в кромешной тьме из самых дальних конюшен, а те, кто был в работе, рвали построжки и все рвались к моему телу, напоенному жизнью, благодатным солнцем. И если этот запах на воле мне казался едва уловимым, то здесь, для других, не видящих солнечного света многие годы, он был фантастически нереален, но таким родным!.. таким родным, что многие, обступив меня, шумно обнюхивали даже все неприличные места моего тела. Они громко ржали и били ногами твердь каменного подземелья, пока их не разогнали матерными словами злые люди, называемые конононами.

Мне это показалось дикостью, но не столько громкая брань людей, а выходки моих собратьев по отношению к моему телу. Так я тогда думал, недоумевая, но когда впоследствии сам бежал сломя голову к новоиспеченной лошади, спускаемой для тяжелой подземной работе, то

и не допускал даже подобной мысли. Все рвались к запаху солнца от убивающей тебя угольной пыли и сырости. Я был тогда весточкой для всех о совсем другой, нормальной лошадиной жизни.

Когда я открыл глаза, то практически ничего не увидел, мне показалось – повязку вовсе и не убрали с глаз, но чуть приглядевшись, обнаружил мелькающие бледные огоньки фонарей в руках множества людей. Эти фонари вовсе не напоминали солнечный свет, что был так дорог и необходим моему глазу и телу, но это было всё-таки свет. Много позже я узнал все подробности подземной жизни и истинные нравы людей, а на данный момент, как только я поднялся на ноги, взволнованно дыша сытыми крепкими боками, меня тут же кто-то схватил под уздцы, и повел по мрачным, узким лабиринтам сырого дурно пахнущего помещения. И так я оказался в подземной конюшне. Узкие кирпичные перегородки под каменным сводом, нет света, крысы, крысы... эти твари нигде не оставляли нас в покое. Они воровали нашу пищу, кусали за ноги, хвосты. Они были хозяевами положения.

В то время конюшня была почти пуста за исключением одной жалкой на вид доходяги. Где-то в глубине помещения испускал желтоватый свет фонарь, а мои глаза, лишившись тугой повязки, уже стали различать все формы таящиеся во мраке. Смутно, но различать, а здесь, в шахте, этого было достаточно, чтобы не повредить свои члены об острые выступы породы. Эту доходягу звали Быструха. Правда её давно так не называли, больше сукой и тварью, как она мне поведала.

У неё был жалкий вид: кожа обвисла, местами была в струпьях и язвах, на суставах глубокие кровавые трещины, нижняя её губа была отвисшая и дрожащая, копыта обломаны... А в её глаза было страшно смотреть – столько в них было физической муки и душевной печали!.. Точнее сказать – в её глаз, а не глаза, потому как другой был вытекший. Я был потрясен её состоянием! Но она особо не жаловалась на судьбу, говорила: привыкла. Она стояла здесь в ожидании подъема на свет божий – слышала от коногонов: «Пора эту клячу на поверхность, не выдержит долго». И сердце Быструхи от услышанного, наполнялось тихой щемящей радостью. Она говорила и говорила мне о том, как снова окажется на любимом лугу под благодатным солнцем и будет щипать молодую траву. Она тоже обнюхивала меня, раздувая ноздри и говорила, что я пахну солнцем... пока... и что вскоре я буду такой, как все. Шахта уничтожит меня, не даст дожить до отпущенного природой срока. А я полагал тогда, что этой доходяге все двадцать лет, а ей, ты не поверишь, было всего десять! Лошади не могут жить под землёй долго, разве что крысы... а они, так и шныряют под ногами в поисках пропитания, не зря каждая лошадь носит мешочек с овсом на собственной шее...

Эх, как же хорошо на поверхности, где нет этих вездесущих тварей! Я сегодня целый день просидел на этом камне, и никто меня не побеспокоил. Сажу, греясь на солнце. Я, конечно же, не вижу, как и все поднятые лошади с подземных лабиринтов, но ощущаю каждый лучик солнечного света, даже последний уходящий. Чувствую: вечереет, а после наступит ночь, возможно холодная, но я знаю, уверен, завтра вновь будет рассвет, и вновь я буду обогрет солнцем. А в бесконечных сырых узких штреках рассвет никогда не наступал, так же, как и для бедной Быструхи, хотя и был обещан.

Да, её так и не подняли на поверхность. За нами вскоре пришли двое и вывели в разные направления. Быструху на работу, а меня на учебу в свободном штреке.

Я легко поддавался нехитрой науке. Моё чутьё подсказывало – в этих подземных казематах по-другому себя вести нельзя. Я мог и воспротивиться, вырвавши уздечку из ненавистных рук приставленного ко мне коногона, пахнущего хреновухой и табаком, и вернуться в конюшню. А что бы я делал дальше? Меня бы вновь заарканили и процессу не было бы конца, да к тому же получал бы дополнительную порцию батога по спине и морде. «Прими вправо! Прими влево! Крути! Пошла шагом! Примись!» – всё это пришлось осваивать, и я оказался на редкость способным учеником, как я потом слышал от этого человека. Он бахвалился

остальным при встрече, какая я умная и к тому же ещё и сильная коняга, все, все потом узнали, что я стал рекордсменом в этой шахте, таская по семь, восемь вагонеток с углем. Лучше бы я не показывал этой возможности!.. Ах, да, я чуть не забыл о судьбе моей первой знакомой, моей Быструхе, к которой я проникся смешанным чувством уважения и жалости...

Я видел её в рядом находящемся штреке, когда я проходил курсы своей будущей квалификации: она тянула всего три вагонетки, но и этого ей было достаточно, чтобы основательно выбиться из сил. Коногон хлестал её бичом, матерно при этом, ругаясь, а она, подгибая колени, буквально валилась на брюхо, вытягивая вперед своё тело. Коногона звали Петр. Кудякин Петр – запомни это имя. Он был самый известный своей жестокостью к нам, лошадям. Меня тоже с ним судьба свела, но это было потом, гораздо позже. А в этот момент мне так хотелось вцепиться в его мерзкую тщедушную фигуру своим крепким копытом!.. Вскоре я увидел бездыханное тело Быструхи, брошенное в спасательной на случай обвала нише. Потом, конечно же, её труп был поднят на поверхность, на солнце... Она могла остаться живой, но Кудякин тогда решил выжать из неё последнее – план нужно было перевыполнить... денег больше... бригадир требовал. Мне рассказывали очевидцы – он тянул её за язык в узком и низком откаточном штреке... веревку привязал к языку и тащил, причиняя невыносимую ей боль и страдание, а она, упав на колени, тащила вагонетки... вот сердце и не выдержало... а ведь и у лошади есть сердце. Ты меня слышишь?! Как жаль, что многие люди его не имеют!

Что было дальше? А дальше было всё одно и то же. Я перестал мыслить категорией времени суток. Где утро, вечер ли, не имели уже значения – была только ночь, вечная ночь. Я уже не пахнул солнцем, и на меня уже так не обращали внимания мои собратья, я был, как все. Я дышал угольной пылью, и моя кожа впитывала этот гнетущий подземный смрад. Единственное место, где можно было вдохнуть нечто свойственное лошадиному роду, это стойло, где пахло опрелшей соломой и нашими жизненными отходами. Но там надолго никто не оставался и редкие беседы со случайным трудягой, привязанным по причине физической усталости, наводили только на грустные размышления. Отсюда выхода не было.

Впрочем – выход был, но для этого нужно было основательно состариться, или заболеть и быть совершенно непригодным для дальнейшей работы. Я же, по своей молодости и глупости, выкладывался, как только мог. Мне достался неплохой по характеру коногон Вася – не хлестал особо. Правда, мне не пришлось с ним долго сотрудничать, ко мне приставили другого коногона. И кого ты думаешь? Ни за что не догадаешься! Это был Алексей! Мой Алексей! А я его издали почувствовал, и радости моей не было предела! Хотя ему и нельзя было спускаться в шахту, но он настойчиво сюда просился ради меня и ему, в конце концов, не отказали. У него были слабые легкие, и он постоянно кашлял, отхаркиваясь. Я не придавал этому особого значения: многие здесь кашляют, даже лошади.

Мы были передовиками, потому что я старался, понимая – Алексею нужен план, а в награду я получал его любовь и всё тот кусочек сахара из его теплых ладоней. Я даже борщ ел с ним вместе. Ты слышал когда-нибудь, чтобы лошадь ела борщ? В шахте будешь есть всё, что хоть чуть-чуть напоминает ту прошлую жизнь. Не знаю насколько та, другая жизнь, воплотилась именно в этом блюде, но остатки борща я доедал с превеликим удовольствием, кивая в знак благодарности головой и кладя её на плечи моему любимому хозяину.

Люди трудились ради денег. Мне всегда это казалось странным и настолько, что до сих пор не могу понять смысла, так же, как и сами люди, придумавшие этот, пусть и оригинальный, взаиморасчет за оказанные услуги. Я, в общем-то, соглашусь своими лошадиными мозгами: не придумано пока более совершенного взаимоотношения между людьми, но причем здесь мы, лошади? Подчиняя нас своим мелочным интересам, пусть за этим и стоит выживание самого рода человеческого, вы этим самым губите всё живое на чудесной планете, где вволю хватает корма для всех, по крайней мере, для нас парнокопытных. Восседающая горделиво на наших спинах, вы показываете своё превосходство перед остальными, а если ещё на породистом скакуне,

то вашему бахвальству нет предела! Да, мы можем всё: пахать землю, таскать большие грузы, и многое, многое другое... только зачем же нас в шахты?.. И не капля никотина нас убивает, запомни, нас убивает жестокое обращение человека! И всё ради копейки! Ради копейки случаются страшные трагедии в шахтах – свадьбами называются. Сколько я друзей потерял из-за оплошности коногона или тормозного, сидящего сразу же за моим крупом на первой вагонетке. Задача тормозного вовремя погасить движение состава перед спуском к клетки, а лошади отскочить по команде «Примись!». Но коногон, он та-а-к разгоняет лошадь!.. Скажешь для чего? А чтобы быстрее докатились вагонетки... копеек больше будет... разгрузили, подняли уголь на-гора а ты снова в забой уже пустой и быстрее, быстрее по узкому штреку, чтобы снова загрузиться... скорость она копейку прибавляет коногону и бригадиру. Я видел собственными глазами такие свадьбы. Недавно ушел Лебедь...

Лебедь, перед разминкой, хотя барок с крюком был отстёгнут, не успел отскочить по команде «Примись!» – слишком уж разогнались вагонетки перед спуском, и его потащило к стволу шахты. Потащило его вниз собственным многотонным грузом угля и железа. Всё гремело и скрежетало, и бедный Лебедь оказался бессильным перед напором этой массы. Его бросало, словно пушинку, и било о каменные выступы продольного штрека. Всё смешалось в одну кучу... Это было кровавое зрелище! Он был уже мертв, прежде чем улететь в глубокий ствол шахты. И это не единственный случай, и виной этому опять – копейка. И мне, представь, нисколько не жаль людей – мне жаль своих четвероногих братьев, отдающих свои жизни за ваши деньги! Так кто же убил Лебеда? Я отвечу – коногон! А мы тоже убивали коногонов!.. Как? Расскажу.

В общем, сгубила шахта Алексея. Или он сам себя сгубил, спустившись в ад ради меня. Тяжелый подземный труд унес его раньше, чем я постарел и стал немощным. Он настолько исхудал, что казалось не я, а он таскал тяжелые вагонетки, а когда в одно прекрасное время он не появился, то я почувствовал всей кожей, всей своей лошадиной сутью – он больше не вернётся.

Так и случилось, я его больше не видел. Стоя в конюшне, в ожидании своей дальнейшей судьбы, я предавался то горьким, то радостным воспоминаниям. Всё перемешалось во мне: я гордился, показавши собой всю мощь породы тягачей, к которой и отношусь – одиннадцать вагонеток я потянул, чтобы Алексей выиграл спор у других завистливых коногонов. Но это было только раз. Алексей берег меня в обычной работе, размеренной, но всё равно – напряженной, хотя я чувствовал порой его недовольство, но старался попевать и он это видел и знал. Ведь нужно, кроме количества угля в вагонетках, ещё и иметь быстрый ход, чем я, может быть, и удручал хозяина. Но всё равно он любил меня. У каждой лошади были свои хозяева-коногоны, и, как правило, все они были злы и нетрезвы. Мне повезло с Алексеем, а когда его не стало рядом – весь мир потемнел, хотя темнеть ему и так дальше некуда. Эти редкие фонари под сводами горной породы, были только слабыми маячками, указывающими путь в штреках, но я уже не обращал на них внимания – я знал шахту наизусть. Мне можно снова завязать глаза – безошибочно выберу нужный путь к конюшне или к клетки. Это здесь умела каждая лошадь. Любой выступ сбоку, сверху ли был знаком, хоть и невидим порой: все знали, сколько до них шагов нужно отсчитать, чтобы повернуть, не поранив бока, либо пригнуть голову. Да, да! Отсчитать! Поверь мне, в шахте каждая лошадь становится математиком!..

Свои математические способности я показал тут же, когда не стало моего доброго и любимого хозяина. Это было чуть позже, а пока я стоял, понутив голову в ожидании своей участи. Я знал, слышал, что в шахте идёт яростный спор о моём будущем хозяине и то, чего я так боялся – случилось. Нет, я не боялся работы – я боялся Петра Кудякина. И он пришел за мной.

Тяжело мы привыкали друг к другу, но так и не привыкли. Первым делом прозвучала команда: «Крути!», хотя я без него знал, что нужно развернуться на триста шестьдесят граду-

сов и стать задом к вагонеткам, но тут мою спину вдруг обжигает удар длинного бича этого наставника. Я вздрогнул от непривычного ко мне отношения, но не подал вида. Возможно я не так быстро развернулся, как того хотелось Кудякину, или моя давняя неприязнь к нему выражалась каким-то образом и он это заметил, но я с этого момента его возненавидел основательно, а когда он стал каждый раз увеличивать количество вагонеток, я взбунтовался...

Но всё по порядку: и так, я таскал при моём бывшем хозяине от шести до восьми вагонеток, каждая по полторы тонны, а с первого раза он прицепил ко мне девятую. Ты спросишь, как я узнал? Да элементарно! Каждая лошадь считать умеет. Здесь это – выживание, иначе бы наша короткая жизнь стала ещё короче. Когда цепляется второй вагончик – щелкает сцепка, третий – щелкает сцепка, четвертый... пятый...

Тяжесть сама по себе ощущается, но иногда лишний груз может только показаться в виду твоей усталости, но вот эти щелчки сцепок... Кто привык таскать по пять, шесть, тому значит этот груз в пору – так решает коногон и сама лошадь. А Кудякин хотел, конечно же, большего. Первую ходку я выполнил исправно, даже обратным рейсом подбросил крепежный лес к выработке, но на вторую ходку он прицепил ко мне десятую вагонетку. Тихо это проделал, медленно, но щелчок я услышал. И тогда я показал ему свой характер!

Я резко взял влево, потом вправо насколько мне позволял узкий штрек, и чуть отступив назад, рванул вперед, чуть не порвав свои сухожилия, но всё обошлось – порвались широкие кожаные постромки. Я побежал по рельсам, по этим темным лабиринтам подземелья, безошибочно находя путь к спасению. Да спасение ли это было?.. Через какое-то время в конюшню забежал разъяренный Петр Кудякин и отхлестал меня, не оставив на теле живого места. Он бил, а я храпел, вставая на дыбы и косясь недобро на этого мерзавца. Если бы не шоры, то возможно я бы лишился своего последнего и так слабого зрения. Я хотел его укусить, размочалить копытами, но пока терпел. Он был мастер своего дела, выложив на моё тело два десятка ударов, кроя при этом самыми страшными словами, которым даже его дружки коногоны удивлялись. Таким образом, он призывал меня к покаянию и смирению.

Я покорился внешне, стараясь не подавать вида, своей лютой ненависти к нему, но внутри у меня всё кипело, и я ждал подходящего случая... Поверь, я не совершил бы эту подлость, если бы Кудякин не продолжил своего гнусного дела. Я был весь в напряжении во время очередной сцепки вагонеток. Я считал: одна, две, три четыре... семь. Всегда было семь, иногда восемь, но не белее. И так, на этот раз он прицепил семь этих полутонных повозок с углем. «Как всегда» – подумал я облегченно. Мне казалось тогда – сжалился он, признал мой характер, и я привычно потянул состав, не понимая, в чем была хитрость этого коногона.

Тянул, изо всех сил, словно вагонеток, было на две, три больше. И на стыках рельс они стучали, как семь, вот только...

Только с третьего рейса, на крутых поворотах, я заметил краем глаза – искрит и скрежет последняя вагонетка... И что ты думаешь!? Он блокировал сначала одно, потом два колеса последней вагонетки, чтобы я привыкал к этой тяжести. Да и, в общем-то, в качестве наказания годился этот приём. Об этом уже знала вся шахта и многие неодобрительно отзывались о его проделках. Получается – привыкая к этому грузу, я поташу в следующий раз уже не семь, а десять вагонеток. Это был обман! Жестокий обман! Тогда я снова заупрямился и не сдвинулся с места, выражая свой протест, и снова был бит. Рвать постромки и бежать в конюшню, не было смысла, и потому я стоически выдерживал это избиение на месте. Кто-то из коногонов налетел тогда на Кудякина и, вырвав кнут, сцепился с ним. Их разняли уже забойщики, не выдержав громкой потасовки. Не сказать, что тот, другой коногон, лучше моего изверга Петра, но, тем не менее, всё обошлось в тот раз относительно благополучно. Я получил всего несколько ударов плети, а разблокированный вагончик покатил по рельсам куда быстрее. Но Кудякин не изменил своей мерзкой натуре – его проделка стала более изощренной – я это не сразу понял.

Я всегда слышал звуки сцепок, считая каждый, но почему-то груз не уменьшался. Натирая до крови постромками своё тело, я сетовал на свою слабость, и мне становилось страшно. Страшно, что меня покидают силы, и то, что больше никогда не увижу солнца. Я был ещё молод, но ощущал себя стариком: копыта разбухли от постоянной влаги под настилом рельс, и боль в суставах не давала покоя даже в часы короткой передышки. Без Алексея моя жизнь потеряла всякий смысл, но если бы меня спросили тогда, кого выберешь Алексея или солнце, то я бы выбрал последнее...

А ты пиши, пиши, и сильно не вникай в старческое брюзжание. Возможно, меня уже не будет, когда исчезнет последний луч солнца. А я его чувствую – он угасает, так же, как и моя никчемная жизнь. Единственное, что меня сейчас радует – это мой будущий портрет. Память – это самое лучшее, что остается после нас. Ты, пиши, пиши... Ах, я немного опять отвлекся... потерпи, немного осталось.

Так вот: я таскал, и таскал вагонетки, пока в очередной раз не упал на колени и долго не мог встать. Непонятно было, почему я так ослаб, но дело вовсе было не в этом... Кудякин, оказывается, обматывал тряпками колеса последних вагонеток, чтобы не так били на стыках рельс, и сцепки соединял настолько тихо, виртуозно, что я не слышал. Сколько вагонеток я таскал, не знаю. Я долгое время не мог прийти в себя, находясь на лечении в конюшне. Правда, это не было лечением, это был элементарный отдых. Старые коногоны поговаривали – меня отправят наверх – если лошадь падает на колени – гиблое дело. В душе я радовался... пусть больной и слепой, но на земле. Но странным образом я выздоровел. Молодость берёт своё. И вновь этот негодяй завладел мной...

Теперь, (казалось) он обращался со мной по-честному: я таскал всего пять, шесть вагонеток, но это было недолго – Петр вновь взялся за старое... и я выстроил свой коварный замысел, насколько мне позволяли мои лошадиные мозги и обустройство откаточных штреков.

Ненавистный мне Пётр часто забегал сбоку, чтобы подстегнуть, если вдруг покажется не свойственный мне размер шага, а я порой специально это проделывал, выверяя параметры его фигуры и расстояние до ближайшей крепости в виде деревянных толстых опор. В самых узких местах я старался идти, наклоняясь в сторону ближних бревен, как бы впритирку и нарочно замедляя шаг. Мне не жаль было Кудякина, мне было жаль себя. Я не хотел больше подчиняться ему. И однажды я всё-таки прижал его в узком месте, но неудачно – выскользнул он, зато мой бок сильно поранился об острый выступ породы, и потому на некоторое время пришлось отказаться от задуманного. Но мною был придуман другой план и он сработал...

Я практически не видел своего мучителя из-за огромных шор, но чувствовал его шаги и дыхание, даже когда он замахивался кнутом – знал, куда прилетит жгучая боль. И так, я выверял и выверял свои и его действия... и однажды понял – этот миг наступил!..

...В тот момент, когда я специально замедлил шаг на ровном месте, он, как и положено опытному коногону подбежал к первой вагонетке, выясняя причину столь медленного шага. И я, конечно же, не дал ему времени для принятия нужного решения. А решение у них, у коногонов, одно: видя нежелание лошади тащить состав, как положено, они обрушивали тут же свой гнев на наши спины. Я не дал Петру такой возможности! Я выразил ему свой протест!.. Я рассчитал свои действия!..

Крепкий удар задним копытом в голову ненавистного мне человека, был точным и убийственным! Ты никогда не слышал хруст человеческого черепа? Хруст моих больных суставов покажется шепотом по сравнению с тем, что мне пришлось услышать! Но мне не было страшно! Я ликовал от такой удачи!.. Тот далеко улетел в глубину штрека, ударившись об гнилые крепи, после чего и случился обвал... Обвал частичный, именно в том месте, где и приземлился уже бездыханный Кудякин.

Я уцелел. Я торжествовал! Неважно, какой теперь у меня будет хозяин, но этого злодея больше не будет, это точно! Пусть все думают – обвал случился сам по себе. В шахтах это

часто случается – гибнут лошади, люди. Но люди часто гибнут и от лошадиного норова, это все знают, но почему-то не берут в толк.

Я ещё долго работал в шахте, пока не состарился и не выбился окончательно из сил, потом меня ослепшего и немощного подняли наверх.

Я заканчивал портрет, а старик опять запел слабым голосом: «Вот мчится лошадь по продольной, по узкой темной и сырой, а молодого коногона несут с разбитой головой.»

Солнце уже зашло за горизонт, а его последний розовый луч всё ещё дрожал на бледном лице старика, как будто не желая покидать того, кто так мечтал о долгожданной с ним встречи.

Портрет был готов, но когда я в последний раз решил сверить написанное с натурой, то моему взору представился всё тот же камень, напоминающий своей формой лошадиную голову.

Чуть позже я пошел искать дом по улице Таёжная тридцать восемь, но там обнаружилось только ветхое полуразвалившееся кирпичное строение, почерневшее, заросшее крапивой и лебедой. Ничто не напоминало о его предназначении, лишь только несколько ржавых подков валяющихся то тут, то там, натолкнули меня на некоторые размышления...

Небо уже давно перекрасилось с охристо-лилового цвета в темно-фиолетовый, и ранняя провинциальная тишина, как всегда, навалилась тягуче, дремотно...

Уже гасли в домах огни и переставали лаять собаки, как вдруг со стороны пруда, где проводила своё основное время местная ребятня, послышались громкое лошадиное ржание и молодой озорной голос подростка. Молодой человек восклицал: Рубин! Рубин! Ты сильный и быстрый, как птица! Унеси меня в вечность!

И слышался топот копыт, переходящий с крупной рыси, в учащающийся ритм бешеного галопа. И удивлялась ночь этому ликованию жизни, и переживала за своё непостоянство тьмы, потому как завтра вновь взойдёт благодатное солнце.

КОГДА УМЕР ОГОРОДНИКОВ

Андрей понял, что умирает. Его долго протискивали в узкую грязную трубу, а он всё цеплялся своими ещё сильными руками за её края. Он не хотел туда – неизвестно куда... где нет, по всей видимости, привычного уже существования. Он понимал, что если поддастся сильной и проворной смерти, то уже больше никогда не вернётся назад. Назад к своей ещё здоровой жене, на которую нет-нет, да и поглядывали деревенские мужики. К своим детям, хотя и взрослым, но ещё не крепко стоявшим на ногах.

Сзади на него напирала и кряхтели. «Ишь, ты, – злился Огородников, – и дышит человечьи, с-сволочь.»

Ему очень хотелось разглядеть эту неожиданную гостью с того света, чьё зловонное дыхание просто забивало легкие несчастного. Он выворачивался, яростно сопротивляясь не прошенной черной хозяйке, которая вдруг отпустив его на мгновение, зашла сбоку и, пропустив некое подобие рук через подмышки Андрея, заломила ему голову назад. Он теперь не видел трубы, да и звёзд не было – просто чернота, лишь кое-где появлялись редкие всполохи далёкого огня. «Жив, жив пока!» – шептал Огородников, падая на колени. И эта последняя мысль придала ему некоторые силы для дальнейшей борьбы за своё хоть и безрадостное, но ещё полное смысла существование.

Он готов был все свои оставшиеся силы положить на эту борьбу с непонятным и ничемным явлением, как смерть. И эта мысль, озарив его угасающий рассудок, стала совершенно понятной. Настолько понятной, что он сам удивился этой ясности. Вся прошлая жизнь показалась ему просто какой-то пустой забавой начиная с самого детства и включая женитьбу, рождение детей... В этой последней схватке с самым подлым явлением в жизни человека, Огородников (ему было только пятьдесят два) напрягал всю свою волю, которая хоть немного, но подпитывала его подуставшие мышцы от длительного противостояния смерти. Он её не испугался, он её – возненавидел. Как же можно приличного человека, отличного семьянина, пусть иногда и выпивающего, толкать беспардонно в какую-то грязную трубу. Он не хотел в неизвестность. Так не хотел, что искал в себе все потаенные силы, чтобы пустить их на сопротивление. Андрей даже умудрился ущипнуть себя, на мгновение, оторвав правую руку от скользкого предмета в который его и пытались запихать. Нет, это не сон... Он даже успел краем глаза увидеть того, кто так настойчиво проталкивал его в тартарары.

Это было нечто аморфное, белесое и часто меняющее силуэты от животного до некоторого подобия человека, или может ему так показалось. Но в любом случае это было незнакомо и омерзительно. Ему не хотелось отвечать за прегрешение первых людей на этой прекрасной земле, и Андрей закричал, что было духу: « За что меня?!.. Отпустите! Я сам, сам!» Он даже не узнал свой голос, настолько он был далёким и чужим.

Его отпустили. Тяжело дыша, он пытался разглядеть всё, что его окружало на данный момент, но это действие оказалось тщетным, потому как кроме края грязной и зловонной трубы, ничего не было видно. Снизу что-то хлюпало, чавкало, и ноги постепенно увязая в непонятной липучей жиже, холодели, теряясь, как бы отходя от самого тела. Это ощущение было, необычным и страх пополз крупными мурашками по ещё земному телу Огородникова.

Смерть была где-то рядом. Андрей слышал, как она тяжело дыша, ждала его окончательного решения. Он, конечно же, мог её обмануть, хотя это ещё никому не удавалось. Обмануть в том, что он изменил своё решение и будет дальше сопротивляться, поскольку, он был уверен, та обратилась не по адресу. Огородников никогда не болел и собирался жить очень долго. И сейчас в этот роковой момент, стоя у самого края своего земного пребывания, он начал припоминать, где он мог и как ну хотя бы простудиться и тем самым навлечь на свой организм хоть какое-то заболевание. И если бы он припомнил нечто подобное, то этому может,

и было оправдание, но времени на анализ своих жизненных передрыг не было и Андрей, смирившись с тем, что каждому отмеряно столько сколько необходимо, просунул голову в черную и донельзя зловонную трубу. Он знал не понаслышке, что многие, пребывая в коматозном состоянии, возвращались обратно, увидев при этом свет в конце длинной трубы, выводящей по ту сторону душу покойного.

Но те возвращались, а Андрею Огородникову предлагалась игра только в одни ворота.

Сзади на него надавили чем-то тяжелым и колючим. Иголки почти достали до сердца умирающего Огородникова. Ноги и руки онемев, перестали слушаться всё ещё исправно работающего мозга, и он, с ясным чувством долга перед природой человека, шагнул в трубу. Да он вовсе и не шагнул, его бережно приподняли с зыбкого основания у трубы и поставили во весь рост. Рук и ног Огородников уже не чувствовал вовсе, стучало лишь изредка сердце, но и оно вдруг остановилось... И тут же вспыхнул яркий свет, озарив весь путь через который нужно пройти умершему. Андрей был настолько удивлён живописному своду ранее казавшейся грязной трубы, что это, откуда ни возмись, блаженное состояние он бы никакими средствами не передал, будучи живым. А когда над расширяющимся сводом яркого округлого пространства заиграла ранее неслышанная музыка, очаровывая новую сущность бывшего жильца планеты Земля, то он уже сам стал частью этого нового и непонятного состояния.

Музыка была настолько непередаваема по ощущению, что её невозможно было переложить на земные семь нот. Мажорный звукоряд был настолько широк, насколько широка была сама вселенная.

Андрей окончательно убедился в своей смерти, и ему почему-то было так легко, что он со стыдом начал припоминать свои никчемные потуги по возвращению на землю. Ему даже подумалось, что если бы земляне только знали о своём мучительном пребывании в телесной оболочке, то непременно бы безжалостно покончили с собой. Но ему уже была непонятна печальная участь землян, которые так тщательно оберегают своё тело от всевозможных несчастий. Ему была близка и понятна вот эта озаренная благодатью часть нового мира, где многообещающе мерцали мириады разноцветных точек, обволакивая новое сознание Огородникова. Он ещё помнил лица своих родных, даже супругу, которую было совершенно не жаль: как она и кто с ней...

Мозг покойного пребывал в отличном состоянии, хотя руки, ноги, туловище, наконец, голова и всё остальное тело, напроць, отсутствовало. И этонисколько не удивляло уже бывшего покойного, ему было очень комфортно от того, что он осознавал себя, хотя себя и не видел. Это новое состояние настолько было необычно приятным, что уже дух Огородникова не променял бы его на десяток новых земных жизней. Он бы вечно стоял в начале этого сверкающего тоннеля, настолько ему было это по сердцу, хотя последнее тоже отсутствовало. Выразить свои чувства вслух он тоже бы не смог, но удивительным образом Андрей мог говорить и слышать музыку, не имея на это данных осязаемых органов. Единственное, что он понял в своем новом невидимом обликии, что он есть и, по крайней мере, осязаем для самого себя и это почему-то совсем не удивляло.

Музыка играла и со всей очевидностью это была вступительная часть к некоему дальнейшему торжеству духа Огородникова, как вновь прибывшего на этот свет. Всё ещё было впереди и это, несомненно, было самое важное и необходимое, поскольку уходящее и переливающееся изумрудным светом пространство звало к себе все то, что осталось от бывшего земного Огородникова. Нужно было идти, лететь, раствориться эфиром в зовущей дали блаженства и покоя.

Андрей оглянулся. Он был не один. Сзади него стояла плотная стена из ещё не растворившихся в эфире человеческих тел и уже легких дымчатых новообразований из оных. Он вздрогнул, увидев поверх множества человеческих тел агонизирующую в последней схватке со смертью знакомую фигуру соседа Федулова, который давно задолжал ему некоторую сумму.

Андрею стало смешно от такой мелочи. Он смотрел с превеликим удовольствием, как тот превращался из своих привычных форм в нечто совершенно иное. Федулов растекался горячим воском, изрыгая из себя предсмертные вопли, и превращался в подобие пара, который поднимался кверху сводящегося свода и обретал потом невидимые формы для новой жизни.

А может Огородников и ошибся, опознав в несчастном своего бывшего соседа. Но если бы это был бы действительно и Федулов, то по всем признакам и внутреннему ощущению, эти земные знакомые лица здесь не имеют совершенно никакого значения и общение между ними казалось бы очень странным, поскольку в новой среде уже витали новые чувства предрекающие новые встречи и новые знакомства. Так, по крайней мере, уже ощущалось Андреем. Собрав воедино, последним усилием воли, своё осознание к бывшей земной жизни, где осталась его дражайшая Раиса Васильевна, мать его двоих детей. Огородникову стало просто смешно от той наивной любви, к какой-то земной женщине, которая всего лишь продолжила род и не более. Он чувствовал, что сейчас ему предстоят дела гораздо важнее земных, что его дух нуждается в какой-то внутренней очистке и подпитке свежих чувств, чтобы потом заполнять пространство огромной вселенной новыми формами для новых свершений, которым несть числа.

Нужно было идти. Нужно было уже не думать, что ты ходячий... Ты уже летящий, скользкий, неуловимый даже для самого себя в своих побуждениях, но уловимый для одного единственного, кто держит тебя словно подопытного кролика. Эту связь Огородников почувствовал уже после самой смерти, которая так и не предстала перед его взором мерзкой старухой с косой. Старуха если она и была, то это было всего лишь представление земных жителей, где на переходном этапе и приходилось орудовать злой и дряхлой бабе. Не зря ведь для Огородникова Андрея потребовалось столько усилий, чтобы загнать его в эту трубу. Слаба была старуха, или ещё силен был Огородников. Ему сейчас было совершенно неинтересно, кто же так настойчиво отправлял его сюда в новое измерение понятий и самого существования, которое сложно было бы и назвать таковым.

Проплывать нужно было вниз, по скользкому яркому лучу света, где со стороны свода так же играла божественная музыка, проникая во всю сущность нового Огородникова. Рядом с ним проникали вниз множество новообразований, это были бывшие люди, которые теряли свои привычные формы и теперь рядом с Андреем текли своей новой сутью к ещё неизведанному пространству нескончаемой вселенной. Каково по времени это было опускание, или наоборот восхождение к новому и пока непонятному, никто не скажет, потому как измерение во времени здесь не имело никакого значения. Время имело смысл, когда что-то отпускалось, как то рождение и предшествующая смерть, а между ними этот временной отрезок, по которому люди измеряли свои моменты бытия и чувства связанные с ними. Это когда Андрей был ещё маленьким и мать, отпуская его на реку, говорила: только на полчаса и домой. А он приходил через три, за что и получал прутиком по мягкому месту, потому что в хозяйстве хоть и от пацана, но польза была. От этих внезапных воспоминаний Огородников чуть не прослезился, да слез уже не было, как и его самого в том прежнем виде. Он припомнил лицо матери, и если бы было у него настоящее сердце, то оно бы сжалось в комочек. Она должна быть где-то здесь, хотя он чувствовал, что встречи подобного рода не имеют никакого смысла. Он новый и она, разумеется, нова, стары только воспоминания. И с этим нужно будет мириться.

Пока вся бывшая биологическая масса проникала в другое пространство, то своды тоннеля расширялись и расширялись, образуя собой уже нечто напоминающее дельту реки, впадающую в огромный океан. И этот океан мироздания не заставил себя ждать. Вскоре стены тоннеля совершенно исчезли и перед вылившимся потоком человеческих душ, открылась невероятно цветная и благоуханная панорама прозрачных розовых облаков с бесконечными долинами невиданной растительности. Вокруг матово светились воздушные строения, с бесконечно уходящими вдаль прозрачными колоннадами предназначенных для временного при-

станица душ, которым ещё предстоял долгий путь в космических далях для утверждения горнего духа и совершенной плоти.

Его, как и всех новичков, никто не встречал, никто не командовал, но все ощущали чью-то сильную волю, которой подчинялись безропотно по какому-то внутреннему закону. Всё так же звучала торжественная музыка, и все земные воспоминания стирались в пыль до тех пор, пока проливался этот чарующий звук. И чтобы земные бывшие страсти не занимали сознание ещё не окрепших в новых условиях душ, то музыка звучала и звучала. Этим душам нужен был покой. Они должны освоиться в новом для них доме. Души возвращались домой из длительной командировки, выполнив возложенную на них миссию по обустройству планеты Земля.

Огородников чувствовал его присутствие своим обновившимся сознанием, что тот, которому всё это принадлежит, находится где-то рядом. Этот невидимый и Великий Мастер проникал в его новую суть и разливался благотворным бальзамом по всем потаенным уголкам. Ощущение же земного человека над превосходящей его силой овладевало немногими, но здесь каждый перевоплощенный ясно чувствовал чью-то власть и опеку, что заставляло каждую душу безропотно подчиняться любому желанию Мастера.

В пронизанном ярком свете пространства появлялось нечто в белой и прозрачной одежде, направляя лёгким взмахом фалд, целое сонмище земных неочищенных душ в нужное направление. Огородников перемещался вместе со всеми, и ему при этом было покойно, как никогда ранее. Это было то место, где отсутствовала злость и ненависть, где во всём великолепии форм и чарующего звука чувствовалась гармония всего сущего и его внутренний взор и слух позволял наслаждаться этим в полной мере.

По мере вхождения в некое обозначенное внутренней командой помещение, где не было привычного верха и низа, а было только нечто напоминающее пчелиные соты со всех сторон, Огородников почувствовал вдруг щемящую тоску по всему земному. И это чувство было уже предопределено заранее, потому как отдельная ячейка этих сот закрывалась наглухо за каждой вселившейся туда душой и небесная музыка прекращалась.

Это короткое пребывание Огородникова на том свете длилось всего два земных дня и когда его душа, поселившись в отдельном закрытом пространстве, предалась ярким земным воспоминаниям, как вскоре противоположная створка соты открылась и его страждущая душа полетела со скоростью света на свои собственные земные похороны...

Он никогда не видел Землю со стороны и когда он опознал её среди множества разных планет, то изумился её несказанной красоте. Земля была словно дорогой бриллиант в оправе солнечной системы: сияла и переливалась всеми цветами радуги. Не зря ведь какой-то олигарх перед смертью признался, что у него было единственное неисполненное желание – посмотреть на землю из космоса. Этот олигарх видно перепробовал вволю всех земных благ в ущерб остальным людям, но последнего так ему и не пришлось изведать при жизни. И по всей вероятности не придется испробовать и после смерти, потому как зло творившим после смерти приготовлена другая участь – это душа Андрея чувствовала. Может быть, тот олигарх и изведает когда-нибудь настоящее умиротворение, но только после длительного покаяния. Но скорее всего такие души не подлежат самоочищению, а только грубой перековки в материальное состояние, превратив их в блуждающие по космосу метеориты, которые стремясь к Земле, сгорают в её атмосфере.

Он видел дымы пожарищ от многочисленных вооруженных стычек на разных континентах, дымы от заводов и мусорных свалок, и он понял, что Земля всего лишь маленькая кухня, где человечество приобретает некоторые навыки общежития. Огородников догадывался, что Земля и всё живое всего лишь эксперимент Мастера по отработке этой материи в конкретных условиях. Человечество должно быть совершенным в своих целеустремлениях, не нарушая внутренней гармонии души, но видно где-то случился сбой, потому как все потуги людей

были направлены только на личное обогащение. Мало того – люди сами начали распознавать себя, докопавшись до основ своего зачатия, а это в замыслы Мастера не входило. И если людям было жаль свое тело, гибнущее от всяких бед и болезней, то создатель был равнодушен к их страданиям, поскольку самый главный фундамент – душа, оставалась в его распоряжении, а познать это дивное творение в пределах нескончаемой вселенной ещё никому не удавалось. И если человек получился пока несовершенным, то совершенной была именно душа, которая, не смотря на её выверенные духовные параметры, все же имела некоторые изъяны в представлении Мастера. Эти её изъяны как раз и рихтовались, если сказать земным языком, в отдельных ячейках огромных сот.

Чернота вселенной не пугала Андрея, наоборот – это было уже естественное состояние, неестественным была только его смерть и он, приближаясь к родной планете, всё напрягал память, почему же он так быстро отошел от земных дел, не имея никаких видимых причин для этого. Он припомнил, что последний раз находился в гостях у предпринимателя Калевина а после та самая зловонная черная труба...

Он парил словно птица над земными просторами, безошибочно находя то единственное место, где родился, проживал и откуда вознесся в великое пространство своего будущего. Это место притягивало и звало, место, где Огородникова вскоре забудут, так как земное время стирает в пыль всё, что происходит на ней. Так было задумано Мастером.

Он опускался всё ниже, и ниже узнавая до боли, знакомые очертания своей местности, где между высоких холмов приютилось его село. Было раннее утро, и от широкой спокойной реки поднимался густой туман, обволакивая прибрежные дома густой молочной пеленой. Где-то кричали горластые петухи и хрипло лаяла одинокая собака.

Андрей Огородников, сошедший с небес своей новой сутью, был абсолютно прозрачен, но только для окружающих. Он, опустившись на земную твердь, явно ощутил её материальное состояние, словно у него было всё-то же тело с руками, ногами... и себе на удивление, это так и было. Огородников принял вновь свои прежние формы, и он их видел, хотя они больше походили на сгусток тумана, но этого было достаточно, чтобы ощущать себя в земном пространстве. Он шел по знакомой улице домой.

На этой улице он вырос, проведя всё детство, да и дальнейшую сознательную жизнь. Он очень волновался от того что здесь он знал каждый камушек, каждое дерево. Он явно ощущал страшное биение сердца, хотя его сущность уже давно была не материальной. Ему даже казалось, что колени подгибаются не в силах нести его дальше. Но это только казалось, потому, как это был только дух Огородникова а он сам был мертв и его бездыханное тело, оплакиваемое его супругой, лежало в гробу. Он мог приподняться своей новой воздушной формой и плыть, словно тополиный пух по улице, но Огородников предпочел имитацию ходьбы – это было привычно за его пятьдесят два года земной жизни.

По мере приближения к своему дому Огородников готов был разрыдаться, словно он не был здесь, по крайней мере, тысячу лет, тем более в ожидании потрясающего зрелища, ему было просто страшно. Ему хотелось, чтобы заиграла вновь та божественная мелодия, которая наводит на душу покой и усладу, но здесь на Земле, в моменты прощания со своим телом, она была бы, по меньшей мере, некстати. Духу Огородникова нужно было отдать должное за все бывшие радости и печали, скорбя и прощаясь навечно, что его окружало на этом свете.

В редких домах горел свет, где-то слегка грохотали подойники и мычали коровы. Село просыпалось. Он подошел невидимый и легкий к своему уже бывшему жилищу, где свет горел во всех комнатах, а на пороге стояла узкая крышка от гроба, бросая длинную тень в палисадник. Прежде чем переступить порог некогда до боли родного дома, Андрей обратил внимание

на темное пятно возле собачьей будки – это лежал издохший Шарик. Он был ещё теплый, поскольку скончался под утро, скуля и подвывая после смерти хозяина. Собаки всегда уходили вслед за хозяином, и этот феномен был пока неизвестен Огородникову, но родство душ этих преданных четвероногих и людей явно сказывалось ещё при жизни. Больно было Огородникову...

Боль словно током пронизывала его незримую сущность. Эта боль то расширялась до масштабов вселенной, то скукоживалась до невероятно малых размеров, где она была меньше острия булавки, концентрируя в себе невероятно большую, как взрыв атомной бомбы, энергию. А когда Андрей увидел своё собственное тело лежащим в гробу, то его печаль не имела вообще никаких границ. Тело, его собственное тело, было настолько привычным и родным, что он тут же поспешил проникнуть в его остывшие члены, чтобы хоть какое-то мгновение побыть тем, каким он был в прошлой жизни. Но все тонкие нити, связывающие, когда-то его мощное тело и дух были навсегда оборваны и он тут же поспешил выйти из уже отжившей плоти. И только сейчас он увидел, что возле тела находится его любимая жена и две старенькие соседки. Супруга с изможденным от горя и усталости лицом, сидела у изголовья тела, и нежно наглаживая волосы, шептала, роняя редкие слёзы: « Ну вот, и оставил ты меня Андрюша... Ох, рано оставил!.. Сказал бы хоть, что болело.. что мучило... Ведь никогда не жаловался ты на здоровье...»

Огородников хотел обласкать супругу, успокоить её, сказать, что он здесь... Он метался по комнате не находя места. Его тоже волновало столь раннее расставание с собственным телом, тем более, что никаких видимых причин для этого не было. Он смотрел на собственного себя и волновался не меньше, чем Раиса. Что же могло с ним произойти?..

Мятущийся дух покойника ещё долго летал по комнате, потом опустился рядом с супругой и стал пристально изучать своё холодное тело. Огородников был и мертвый красив: прямой нос, слегка вытянутое лицо с бровями вразлет, небольшой рот с четко очерченными тонкими губами и русый волос с большим чубом, который он при жизни всегда зачесывал назад. А если бы покойник поднял веки глаз, то обнаружили бы два бездонных голубовато-зеленых омута, в которых часто тонули сердца любвеобильных баб. А если бы покойный поднялся со своего одра, то это был бы стройный и плечистый, под метр девяносто ростом, мужчина, которого все любили и уважали за добрый нрав и обходительность со всеми. Таким Огородникова и запомнят.

На покойнике был новый костюм, который он берег при жизни, одевая его исключительно для важных случаев. И вот он лежит в этом добротном костюме в самом наиважнейшем из всех случаев, пожелтев слегка лицом и с чуточку заострившемся носом. Но он все равно был красив. Просто казалось, что человек прилег, подустав немного от земных хлопот. Сейчас вот он вздохнет, поднимется со своего ложа и удивленно скажет: «А долго ли я спал? Не опоздал ли на работу?..»

В покойницкой было тихо, лишь изредка вздыхали старухи, да хлопала носом его жена. Она сетовала, что дочерей до сих пор нет, и успеют ли они к похоронам из далёких отсюда мест. Да и вообще найдутся ли деньги на дорогу, чтобы поплакать у гроба своего отца. Времена были нелегкие для простого бесхитростного человека, когда каждый, кто не умел ловчить, попадал в тяжелую финансовую зависимость от другого, чаще всего – проходимца. Две любимые дочери в семье Огородниковых. Покойник в них души не чаял и, хотя он всегда мечтал о сыне, но все равно нежность свою отдавал обоим без остатка.

Тело в это время оставалось только телом, безжизненной оболочкой некогда универсального анатомического аппарата а его воскресший дух находился рядом в лице всё того же Огородникова, но уже невидимого и чьё присутствие никем не ощущалось. Ему было жаль, что это именно так. Ему хотелось, чтобы все знали – это не так страшно на самом деле, жаль только расставаться со своими родными. Дух его блуждал по всему дому, улетал во двор, прощаясь с тем,

что было дорого и мило сердцу при жизни. Он вновь возвращался к своему телу и не находя места всё пытался припомнить по какой же причине его подкосила смерть. Он помнил только то, что в последний раз беседовал с весьма неприятным человеком, имеющим большое влияние в здешних местах. С большими деньгами этот человек. И Андрей предался воспоминаниям...

Он выплыл легким прозрачным туманом на территорию своей усадьбы, обогнул отчий дом, разглядывая каждую трещинку древнего дубового сруба, который был поставлен ещё его дедом. Дом был низкий, но просторный, с большим подвалом для хранения яблок. Андрей планировал на будущий год отделать его стены современным материалом да заодно и крышу перекрыть. И стоять этому дому ещё долгие и долгие годы. Это было родовое гнездо Огородниковых. К сожалению, этот самый род и заканчивался на Андрее, поскольку с сыном у него так и не получилось. Но пока он был жив сам, то и был его род, теперь он летал вокруг своего дома одной сплошной болью, загоняя вовнутрь нового себя острые стрелы отчаяния.

Его дед был известным садоводом в здешних местах. Огромный колхозный сад славился своей продукцией и даже имел успех на всесоюзной выставке. Андрей гордился своим пращуром и уже после известного политического и экономического обустройства страны, всё ещё ухаживал, как мог за бывшим колхозным садом, который всё хирел и сокращался в размерах. Этот сад уже никто не охранял, он просто безжалостно вырубался местами на дрова, а местами расчищался бульдозером под неизвестные никому строения. Какой-то толстосум из столицы облюбовал здешние места, а именно – сад, где и развернул небывалое строительство.

Был этот толстосум в гостях у Огородникова Андрея, был и Андрей у него. И вовсе не потому, что он уважал, либо заискивал перед сильными мира сего, а только лишь в силу сложившихся обстоятельств. Когда первый раз этот богачей появился на пороге его дома, Андрей, в общем-то, не удивился. Он догадывался, о чем будет идти речь. Догадывался, потому что видел деяния этого неугомонного бизнесмена Калевина – вся его стройка уже подходила под самую изгородь Андрея, и это соседство начинало сильно раздражать Огородниковых. Эта изгородь, разделяющая территорию двоих хозяев, стала больше представляться натянутой тетивой лука, стрелы которого могли полететь в любую сторону.

Андрей не был зловредным человеком. Он никогда не зарился на чужое имущество и потому был относительно спокоен за будущее своей усадьбы, тем более был он в крепкой физической форме, да и уважением в селе пользовался заслуженно. Но времена и нравы...

Когда Калевин впервые переступил порог его дома, то Андрей сразу же обратил внимание на то, что этот бизнесмен был неприятен уже внешне. Был он высоковат, суховат и неряшлив в одежде, а взгляд его плутоватых глаз невозможно было поймать. Темные глазки-пуговицы бегали где угодно по собеседнику: по плечам, по груди, животу, но только не по лицу. И если они иногда останавливались в своём движении, то опять-таки в лучшем случае на ухе, или на лбу оппонента. Калевин тогда разговаривал с Андреем и даже умудрился в разговоре, покручивая слегка пуговицу его рубашки, словно показывая этим, что барьер между ними сломлен. Этот нагловатый психологический прием чуть было не вывел Огородникова из равновесия, но он, подвигав желваками, молча, выслушал бизнесмена.

А разговор носил следующий характер: ловкачу предпринимателю была нужна земля под новое строительство, и он предлагал за участок Андрея весьма неплохую сумму, чтобы тот освободил её. И это был удар, что называется, под дых. Можно, конечно, за эти деньги приобрести жилище в самом райцентре, где и с работой легче, да и город ближе... но ведь дом... его родовое гнездо...

Отказал тогда Калевину Андрей. В резкой форме отказал, надеясь, что возврата к этому разговору больше никогда не будет. Но он ошибался...

Калевин оказывал давление через супругу Огородникова, чтобы та убедила мужа в правильности принятия решения, даже увеличивал сумму за их усадьбу. Раиса взволнованно пере-

давала Андрею последние предложения бизнесмена и волнуясь ожидала от того положительной реакции. Она не признавалась мужу, что она с удовольствием бы убралась из этих неблагоприятных ныне мест, но вида не подавая, всё заглядывала в его большие иссиня-зеленые глаза. Она ждала, что вот-вот и муж примет наконец-то верное решение и их жизнь хоть как-то окрасится другим уже радужным цветом. Но Андрей, поскрежетав зубами, молчал. Он молчал, когда Калевин приходил во второй и третий раз к нему, поэтому шекотливому делу. А молчание Огородникова уже расценивалось Калевиним, как признаком нерешительности и это подбадривало бизнесмена. Но упорству Огородникова можно было позавидовать; ему уже предлагалась такая сумма, на которую можно было не только купить дом в райцентре, но и хоть и подержанную, но машину иномарку.

Время тянулось. А Андрей всё не соглашался, а когда узнал, что Калевин строит развлекательный комплекс, то ему стало просто не по себе. Он не находил в себе места. Ему страшно было представить, что сад, который взрастил его дед, где работал его отец, да и сам Андрей, теперь будет местом развлечения. Там будут визжать пьяные проститутки и обжираться от японской и китайской кухни всевозможные проходимцы от бизнеса. Только от одной этой мысли можно было, не раздумывая бежать из этих мест, к которым он словно пуповиной был привязан с самого детства.

Огородников временами приходил в равновесие со своими чувствами и уже готов был уехать отсюда, но как только представлял себя вне этих родных мест, то ему становилось дурно.

Последний раз он был в гостях у самого Калевина. Андрей был настроен решительно – он уступит свою усадьбу. На территорию бывшего сада, теперь огороженного высокой промоградой, его сразу не пустили. Охранники из местных с удивлением разглядывали Огородникова, словно впервые его видели и пропустили лишь по звонку хозяина. Тяжело было ступать на некогда обихожную землю бывшего сада. Теперь бетон и асфальт. Ничего не узнавалось, всё было другим. «Это ж какие деньжища вложены во всё это!?» – сокрушался он, разглядывая великолепие всевозможных построек с большими гаражами, бассейнами... Ничего не напоминало ему, что здесь когда-то был сад. Ему было больно, обидно...

У самого офиса хозяина он увидел свою любимую яблоню – лимоновку. Она была окольцована бетоном и также щедро, как и всегда, плодоносила. Её сочные желтые плоды заглядывали в темные окна офиса, словно пытаясь разглядеть, что же там творится и кто оставил её в таком одиночестве. У Андрея до боли сжалось сердце. Он вспомнил, что рядом с лимоновкой росла великолепная анисовка, а чуть далее – столовка, а вот здесь... Он пытался понять, почему этот залётный толстосум облюбовал и оставил для себя эту старую яблоню. Может и у него в детстве была любимая яблонька и именно – лимоновка?..

Андрей всё помнил до мелочей... И даже теперь когда он превратился в невидимое состояние, перед ним всё отчетливее и отчетливее проступало то, что явилось предтечей всего последующего неожиданного превращения.

Огородников застонал и, закрутившись невидимым мощным вихрем, взвился в утреннюю чистоту неба. Облетел свое село, впитывая родные красоты, чтобы сохранить навсегда в себе всё, что было дорого и свято. Он метался по небу, неистово пронизывая стрелой облака, опускаясь резко к земле и вновь взмывая кверху. Он не находил покоя.

Утомившись, своим метанием по родным просторам Огородников опустился легким утренним туманом к реке и, приняв невидимую форму человека, окунулся в прохладу горной речки. И хотя он не чувствовал этой прохлады, но он знал, что она есть и его изможденный дух впитывал и впитывал её. Эта была речка, где Огородников провел свое детство. Здесь каждый камушек был ему знаком, каждый прутик тала склонившийся над водной гладью. И если бы в это время душа его вдруг материализовалась во что-то конкретное, то она была в этот момент

наполнена процентов на девяносто девять – слезами. Эти слезы по утраченному детству наполнили бы эту речку до самых краев, настолько велика была его печаль в это время.

Огородников словно аккумулятор, подзарядившись воспоминаниями о детстве у небольшой речушки, вновь взвился в небо и полетел к дому, где лежало его тело и которое сегодня по полудню опустится в землю.

К дому подходили люди. Подходили те, которые засиделись ночью, и теперь отдохнувши, вновь пришли поскорбеть лицом, хотя больше из-за приличия, к гробу покойного. Подходили те, кто не знал о его скорой кончине. Он видел, что к обеду людей становилось всё больше и больше. К часу дня во дворе его дома было уже полно народа. Огородников удивился, что так много пришло людей на его похороны. Пришли отдать должное покойнику и из администрации села, потому как помнили о его благородных деяниях в старые и добрые времена, когда рабочие руки ценились, и портрет Андрея всегда был на доске почёта. Он с удивлением отмечал, что люди по большей части всё же сохранили в себе свои лучшие качества, провожая в последний путь своего земляка. Или люди бывают как никогда искренними именно в эти прощальные часы? Не всех так провожают... Иногда за гробом идут десятка два людей и самое обидное, что похоронив человека, тут же забывают о нем. Огородникову не хотелось, чтобы о нем тут же забыли, но поскольку в его усадьбу набилось почти полсела, он надеялся, что его будет помнить по крайней мере хоть одно поколение, а если бы остался сад... сад куда он, как его дед и отец, вложили столько сил!..

Огородников тогда долго смотрел на яблоню, раскинувшую широко свои ветви-руки у офиса Калевина и ослабевшие вдруг ноги, не смогли сдвинуться с места, словно в них налили тонны свинца. Он присел на резную лавку у офиса и, запрокинув голову, стал изучать каждую ветку яблони. Он не помнил этого дерева. Скорее оно было из последних саженцев некогда преуспевающего колхозного сада.

К нему подошел Калевин и пригласил для переговоров в офис. Хозяин развлекательного комплекса говорил и говорил, как ему необходима территория, за которую так упорно держится Огородников. Андрей молча выслушивал доводы предпринимателя и прекрасно понимал, что если он не уступит ему это место, то может просто оказаться погорельцем.

Он уже был готов произнести фразу, которая разрешила бы долгое противостояние в мирную сторону, но взглянув на Калевина и увидев, как тот в предвкушении заблестел глазками, а взбившаяся пена в уголках толстых губ, готова была сорваться на лацкан костюма, осекся. Ему настолько стал противен этот человек, олицетворяющий в себе новую жизнь, уготовленную для таких как Огородников, что кулаки непроизвольно сжались до белизны в косточках. Калевин быстро заметил эту перемену и прежде чем услышать от несговорчивого Андрея отказ, вынул из сейфа красивую бутылку коньяка. Плеснув содержимое в тонкие фужеры, он глазами предложил выпить.

Огородников тяжело и медленно поднялся из-за стола. Ему разум подсказывал, что нужно согласиться, приняв этим самым верное решение, но он слушал сердце. Когда Калевин услышал резкое «нет», то его маленькие глазки зло прищурились и он, подняв бокал, тихо произнес: «Я буду ждать». Андрей повернулся, чтобы уйти, но в последний момент подхватил бокал, и махом осушив его, ответил: «Жди, может и дождешься». «Дождусь... а как же..» – услышал Огородников.

Уходя, он видел, что предприниматель улыбается, словно их дело имело положительный результат. И ещё он заметил, что Калевин так и не выпил.

Андрей далеко не дошел тогда до дома. В узком переулочке между двумя огородами, ему вдруг стало плохо...

Находясь невидимым во дворе своей усадьбы и наблюдая за приходящими сельчанами, он до последних мелочей припоминал свой последний путь к дому, когда его подкосила внезапная смерть. Огородников проплыл сквозь тихо гудящую толпу народа и направился в тот переулочек, откуда здоровый и красивый мужчина пятидесяти двух лет ушел из этой прекрасной земной жизни. Да, вот это место... вот эта штакетина, за которую Огородников схватился от резкой боли в сердце. Здесь он и присел... и больше не поднялся... Его подняли уже у основания большой и осклизлой трубы чьей-то невидимой и неизвестной силой и протолкнули в её мрачный вход... О, как бы он сейчас хотел вернуться в небесные покои под звуки чарующей музыки, чтобы забыть навеки все земные печали, но Огородников исполнял своё предназначение, так же как и все усопшие в момент перехода в вечную жизнь. Он понял, что его тогда отравили коньяком. Перед его внутренним взором стояло улыбающееся лицо Калевина, губы которого беззвучно шептали: «Дождусь, а как же... дождусь».

Огородников от боли и обиды сжался всей своей мятущейся сутью до ничтожно малого размера: меньше пылинки, песчинки... и потом развернувшись во всю ширь, как некогда вся мать-вселенная от мощного внутреннего сжатия, чтобы взорвавшись заполнить собою всё необъятное земному разуму пространство, поднялся высоко над землёй и, закрутившись в мощную воронку, полетел на территорию бывшего колхозного сада, где в офисе предпринимателя находились двое. Огородников неистовствовал. Он казался себе ужасным в своем негодовании, в своей ненависти к этому мерзавцу Калевину. Он бы с превеликим удовольствием поломал бы все постройки бизнесмена, снес бы не только с лица деревни, но и земли все эти увеселительные заведения. Но он не мог. Он ничего не мог сделать своей нематериальностью в этом свете... Он даже не мог погладить по волосам свою супругу, чтобы хоть как-то успокоить её... сорвать и подержать в руках листок клена... Он мог только чувствовать и переживать...

Огородников легко прошел сквозь бетонные стены офиса и опустился напротив тех двоих, которые как раз и вели нужную ему беседу.

Калевин в это время держал в руках лист бумаги, где черным по белому было написано, что он, Огородников, по результатам судмедэкспертизы был признан внезапно смертным от сердечной недостаточности. Потом бумагу взял в руки управляющий делами Калевина некто Тырлов с красным и круглым лицом. «Всё чики-чики!» – резюмировал Калевин, – «Комар носа... и через полгодика вдовушка продаст нам свою усадьбу.»

Огородников был потрясен такому обороту дела, хитрости и такому жестокому поступку Калевина по отношению к нему, Огородникову, который к себе подобным обращался только – «Мил, человек, да мил человек...» (может за это его и уважали на селе, хотя и его дела были тоже окрашены душевной добротой по отношению к другим.)

Андрей взвился смерчем в кабинете своего убийцы, но это ему только казалось, что смерчем... Он хлестал невидимыми кулаками по физиономии Калевина, громил его мебель, но всё оставалось по-прежнему. Никто не пострадал, только сам Огородников плакал внутри себя от обиды и немоги.

Единственное, что его утешило как-то, так это беспокойные глаза его смертного обидчика, которые забегали по сторонам офиса и уставились в красную, как жгучий перец, физиономию Тырлова: «Такое ош-щу-ще-ние, что мы... мы, не одни.» – прошептал Калевин.

Огородников вышел, хлопнув дверью, и дверь... хлопнула... Он обернулся – это был ветер. Резкие его порывы начали раскачивать старую лимоновку, которая начала гулко сбрасывать со своих натруженных веток сочные плоды. Яблоки падали на бетон, превращаясь в натуральное месиво, поблёскивая сахаристо в ярком свете солнца.

Дух покойного вновь вернулся к своему телу с любопытством наблюдая за происходившим. Дочерей Огородникова так и не было: то ли задерживались в пути, то ли не смогли вовсе приехать. Это, конечно же, огорчало его, но радовало то, что люди шли и шли. По большей

части посетители его тела были искренними в своих чувствах: тяжело вздыхали и искоса поглядывали на его супругу – мол, каково ей... ведь молода ещё баба – сорока нет, статна и красива. Хозяйство крепкое оставляет после себя покойный – скотина во дворе, старенький трактор, огород в пятнадцать соток. Подходили к гробу кто, молча, кто, со словами сожаления, что рано Андрей убрался. И между такими репликами Раиса громко всхлипывала и начинала причитать о том, что ноженьки его отходили и рученьки – отработали... Она сидела у его изголовья и всё наглаживала волос покойного, без конца сдвигая со лба узкую бумажную ленточку с церковным текстом, потом поправляя её. Глаза её были воспалены от ночного бдения и слезы без конца орошали её лицо. Андрей верил её чувствам, и ему было бесконечно жаль супругу. Как сложится её дальнейшая судьба? С кем она будет? Наверняка она уедет из этих мест, потому как дом, конечно же будет продан да и вовсе снесен бульдозером.

Огородников видел, что некоторым знакомым оставалось жить совсем немного, они как-то по особому выглядели, и он отмечал: вот соседу Кривцову Николаю жить осталось буквально несколько дней. Он пьющий и пьющий сильно... Особенно в последнее время он стал заливать как никогда раньше – он тщательно обмывал свою будущую пенсию, до которой вот-вот... Не доживет он до пенсии всего с месяц... Так и умрет в кресле с огурцом в руке, закусить не успеет – сердце... А вон молодой голубоглазый Самохин Костя пристрастившийся к наркотикам – умрет через полгода. Сколько их таких русских парней уже лежит на сельском кладбище!.. А вон Коростылевы два брата – утонут пьяными холодной ночью на широкой реке. Перевернется резиновая лодка – уж слишком рьяно они будут накалывать на острогу шук и щурят... Не выплывет никто... да и не найдут их тела. А вон Сырников Петр через год сгорит в бане – плеснет бензина для быстрого розжига печи и обливши себя запыхает свечой... А вон импозантный Васин... Все, все гости в этом брэнном мире!.. И как бы чинно они себя не носили, конец у всех один...

Огородников всё разглядывал односельчан и удивлялся, что человек не ведает, как порой ему мало отпущено и как он легкомысленно относится к своему здоровью и времени отпущенному для того, чтобы нести друг дружке свет и добро.

Гроб везли медленно, как и полагается в этих случаях. К толпе, растянувшейся, на целую сотню метров, присоединились несколько дорогих автомобилей. Это был Калевин и его свита. Огородников не ожидал такого поворота дела, хотя мог бы и предположить, что убийцы, как правило, приходят на место преступления. И хотя это было не то конкретное место, но всё же случай очень подходящий, чтобы отвлечь от себя подозрение. Люди шли и потихоньку судачили, что не мог Андрей ни с того ни с сего взять и умереть. Практически все знали, что он в последний раз был у Калевина и не дошел домой, знали об их личной неприязни и строили всевозможные догадки по этому поводу.

На кладбище выступил глава местной администрации. Это был старый и толстый человек, бывший некогда коммунистом, переметнувшийся теперь в другую правящую партию. Он перекрестился троекратно и, вытащив из кармана пиджака сложенный вдвое листок, начал читать. Он высказал много похвальных слов о покойном и перечислил все грамоты и медали, которыми тот обладал. Калевин стоял, рядом изображая скорбный вид и в конце речи главы, передал ему ту самую бумагу, где и было заключение медицинского эксперта о причине смерти Огородникова. Глава поспешил и это озвучить. Толпа глухо перешептывалась, косясь в его сторону.

Огородников в этот момент видел только глаза своего врага. Он чувствовал, как тот радуется в душе, что так легко выкрутился. Если бы только он мог отомстить этому подлецу!.. Ему никогда ещё не было так невыносимо больно, ведь Огородников всегда мог постоять за себя, обладая недюжинной силой. Все помнят, как ещё молодым парнем, он поколотил троих хамов, пристававших к его невесте. А сейчас Огородников был бессилён. Его не было. Он лежал уми-

ротворенный в гробу и даже муху севшую ему на нос, прогнать был не состоянии, это сделала за него Раиса.

После речи главы, родные и близкие подходили к покойнику и, прощаясь, целовали в лоб. Потом прощалась супруга, падая на грудь покойника и громко стеля, целовала труп в лицо. Её усердно оттаскивали от гроба несколько человек. Наконец крышку гроба заколотили и стали опускать в могилу.

Огородников глядя, на церемонию прощания с высоты птичьего полёта скукожился от боли и отчаяния как никогда ранее. Он даже пытался кричать от безысходности, но не слышал себя. Он пытался налететь на своего заклятого врага и налетал, но проскакивал сквозь него, не причиняя тому никакого физического вреда. У него было единственное желание – отомстить Калевину... А когда тот, подойдя к краю могилу и зачерпнул горсть земли, чтобы бросить в могилу Огородникова, то боль духа покойного была поистине вселенского масштаба... Она росла и росла расширяясь во все свои мыслимые и немыслимые пределы, закручивая в спираль горячий летний воздух, который вдруг пришел в движение, от яростного порыва которого зашумела и затрещала крона кладбищенских берёз. Все ахнули, задрав головы кверху. Этого было достаточно, чтобы Калевин, стоявший на краю могилы, оступился. Его слегка качнуло и он, неловко повернувшись от края ямы, начал медленно сползать по насыпи вниз. Падая Калевин взмахнул руками в надежде за что-то ухватиться, но его неуклюжее тело все же полетело вниз глухо ударяясь о крышку гроба...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.